Сергей Михайлович Соловьев

Император Александр I. Политика, дипломатия

Сергей Соловьев

Император Александр I. Политика, дипломатия

«Public Domain»

1877

Соловьев С. М.

Император Александр I. Политика, дипломатия /
С. М. Соловьев — «Public Domain», 1877

«…Как в отдельных народах сильные движения, перемены и борьбы служат мерилом сил народных, крепости известного государственного строя, как в отдельных народах история этими движениями и борьбами проверяет, постукивает и выслушивает, что в народном организме крепко и что слабо, где болезнь, от которой народ может или не может излечиться, так и в целой группе народов, которые живут общей жизнью, как народы европейские, подобные движения и борьба служат той же цели, указывая силу или слабость каждого члена народной группы, выясняя характер, задачи, историческое значение каждого из них. Поэтому изучение таких великих движений бывает в высокой степени поучительно, и деятельность лиц, стоявших на первом плане во время этих событий, останавливает особенно внимание историка…»

© Соловьев С. М., 1877
© Public Domain, 1877

Содержание

Часть первая. Эпоха коалиций 5
I. Александр и Наполеон 5
II. Первый разрыв с Наполеоном 18
III. Первая коалиция 36
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Сергей Михайлович Соловьев
Император Александр I.
Политика, дипломатия

Часть первая. Эпоха коалиций

I. Александр и Наполеон

Как в отдельных народах сильные движения, перемены и борьбы служат мерилом сил народных, крепости известного государственного строя, как в отдельных народах история этими движениями и борьбами проверяет, постукивает и выслушивает, что в народном организме крепко и что слабо, где болезнь, от которой народ может или не может излечиться, так и в целой группе народов, которые живут общей жизнью, как народы европейские, подобные движения и борьба служат той же цели, указывая силу или слабость каждого члена народной группы, выясняя характер, задачи, историческое значение каждого из них. Поэтому изучение таких великих движений бывает в высокой степени поучительно, и деятельность лиц, стоявших на первом плане во время этих событий, останавливает особенно внимание историка.

Общие великие движения в Европе следуют одно за другим, после того как политический организм ее сложился; они происходят в силу стремления поддержать этот организм, равновесие между органами, поддержать выработанное европейско-христианской жизнью начало – общую жизнь народов или государств при их самостоятельности; такова была продолжительная и упорная борьба Франции с габсбургским домом, в которой сильнейшие государства Европы сдерживали друг друга. Тридцатилетняя война, начавшаяся под религиозным знаменем, кончилась также стремлением сдержать усиление габсбургского дома, что и удалось Франции. Война за испанское наследство произошла из того же стремления – обезопасить Европу от французской гегемонии – и увенчалась успехом; Семилетняя война имела целью сдержать опасное усиление Пруссии. Но все эти борьбы затмились в сравнении со страшной борьбой, которую Европа должна была вести в конце XVIII-го и начале XIX-го века с завоевательными стремлениями Франции.

Причин такой важности и продолжительности последней борьбы, разумеется, надобно искать на той и на другой из борющихся сторон. Со стороны Франции сила завоевательных стремлений условливалась тем, что войско и его главнокомандующий, способнейший из генералов, явились на первом плане со своими интересами. Последние деятели конвента покончили с революцией, с республикой, когда в борьбе с реакцией призвали на помощь войско генерала. Но это обращение к войску произошло не случайно, не было личным делом, чьим-либо. Революция истребила всех своих крупных деятелей, своих вождей; на ее стороне не было больше способностей; но в это самое время в армии увеличилось число военных способностей вследствие переворота, который дал возможность даровитым людям быстро двигаться снизу вверх; война усилила эту возможность, ускорила развитие военных способностей. Таким образом, на стороне войска не была одна материальная сила. Кроме того, революционное движение оказалось несостоятельным в глазах большинства; идеалы, выставленные двигателями революции, явились недостижимыми; нарушения известных нравственных интересов, кровавые явления и лишения материальные возбудили отвращение к обманувшему надежды движению, и, как скоро революция истребила последних своих сильных деятелей, оказалась могущественной реакция. Народ требовал прекращения революционного движения, требовал

отдыха, восстановления спокойствия, порядка, требовал силы, которая бы разобралась в развалинах, примирила интересы или хотя бы даже задавила борьбу между ними; эту силу можно было найти только в войске. Внутри – обман, разочарование, лишения всякого рода, тоскливая жажда выхода из настоящего положения без средств к этому выходу, ибо при недовольстве настоящим разрыв с прошедшим был так силен, что возвращение к прошедшему для многих и многих не было желательно и возможно; но извне – необыкновенные военные успехи, слава побед и завоеваний. Это была единственно светлая сторона народной жизни; все сочувствие славолюбивого народа должно было обратиться к войску и вождям его, и если один из этих вождей станет выше всех способностями и успехами, то в его руках будет судьба страны. Таким был Наполеон Бонапарт.

Италия давно уже высылала сынов своих, которые отдавали свои способности и деятельность разным государствам Европы. Недостаток государственного единства родной страны рано делал их космополитами, искателями приключений вроде старинных сказочных богатырей, которые служили в семи ордах семи королям, приучая их применяться к различным народностям и положениям, служить многоразличным интересам, оставаясь холодными ко всем этим интересам, кроме собственного, личного. Оторванность от родной почвы без привязанности к стране приютившей ставила их в какое-то междоумочное, нейтральное, международное положение, вследствие чего они преимущественно посвящали себя дипломатической деятельности. Находясь между небом и землей, они были очень способны создавать общие, широкие, смелые планы, в которых частным соображениям давалось мало места; отсюда и в их действиях и замыслах с первого раза странна смесь хитрости, коварства, неразборчивости средств и в то же время широты и величия, смешанного с фанатичностью.

Эти черты даровитых итальянцев, служивших чужим государствам, чужим народностям, черты Мазарини, Альберони, Пиатоли, Люккезини и других находим и в Бонапарте, корсиканце, приемыше Франции. Космополитизм, присущий ему по его положению среди чуждой народности, развился в нем еще сильнее от воспитания, полученного во время революции, проникнутой началом космополитизма, которое особенно усилилось вследствие потрясения начала религиозного: Бонапарт был бы готов стать ренегатом и предводительствовать войсками султана. Вообще революция если не породила, то развила многие основные черты в характере знаменитого корсиканца. Среди страшной ломки, крушения старого государственного здания он привык безбоязненно и равнодушно вращаться среди опасностей, привык к игре случая, к возвышению сегодня, к падению завтра, приобрел магометанскую веру в судьбу; привык в то же время к развалинам и трупам, привык равнодушно располагать и жизнью человеческой, и жизнью династий и государств. Корсиканец не принес в революционную Францию никаких государственных и общественных идеалов и убеждений; он был совершенно чист от них; чуждый происходившему вокруг него, интересам, боровшимся, сокрушавшим друг друга, он привык действовать по инстинкту самосохранения, бить, чтобы не быть убиту, взбираться наверх по трупам, чтобы не быть погребенным под ними. Привычка действовать по инстинкту самосохранения развила в нем хищнические приемы: притаиться, хитрить, плести пестрые речи для того, чтобы обмануть, усыпить жертву и вдруг скакнуть, напасть на неприготовленных; напасть врасплох, поразить ужасом – было любимым его приемом. Убеждение в необходимости действовать ужасом (террором) основано было на презрении к людям как стаду, лишенному нравственной силы, и в убеждении этом он окреп, действуя в последние времена революции, когда сильные люди были покошены гильотиной и поколение измельчало нравственно, и Бонапарт не находил нужным с ним церемониться. Извне, в сношениях с другими народами, он также имел несчастие встречать постоянно людей мелких нравственно, гибких перед силой и приучался ими к насилию в слове и деле, и редкие исключения не могли сдерживать его, а только раздражали и заставляли еще сильнее высказываться печальные стороны его характера, врожденные и приобретенные.

Будучи чужд Франции, ее прошедшему и очутившись при начале своего поприща в революционной Франции, которая так резко порвала со своим прошедшим, постаралась вырыть такую пропасть между ним и своим настоящим, Бонапарт не мог быть Монком и восстановить старую династию. Окруженный развалинами и не уважая ни новых людей, ни новые учреждения, не питая никакого сочувствия к настоящему как результату общего труда, Бонапарт не мог быть и Вашингтоном Франции. Вся обстановка вела к тому, чтобы он взял верховную власть себе и явился деспотом. Но предстоял страшный вопрос: долго ли может просуществовать военный деспотизм во Франции? Он был допущен усталым большинством, которое требовало прежде всего и во что бы то ни стало внутреннего успокоения, чтобы отдохнуть, разобраться после страшной бури; военный деспотизм был допущен по закону реакции, но надолго ли? Французский народ отличился своей способностью скоро отдыхать, скоро оправляться; но, оправившись, отдохнув, примет ли он военный деспотизм как необходимую, постоянную форму своего нового правления под новой династией? Ответ, естественно, должен был представляться отрицательным, особенно после революции, с которой Бонапарт должен был постоянно считаться, по крайней мере формально; но можно ли было ограничиться только формами? Римские цезари считали нужным считаться с республикой, уважать ее формы; но в их время республика с ее формами была явлением, отживающим свой век, чего нельзя было сказать о началах, провозглашенных во Франции в конце XVIII столетия, и надобно было дожидаться, что, устраненные временно, они появятся с новой силой и предъявят свои права на осуществление. Не в характере Бонапарта была, однако, возможность уступки им; с другой стороны, он не мог не предвидеть, что при необходимом столкновении с ними борьба должна быть страшная и победа вовсе не верная.

Но оставался выход, возможность предупредить борьбу. Право Бонапарта на место, которое он занял во Франции, основывалось на его победах; но на чем основывалось оно, тем должно было и поддерживаться; как только пройдет несколько продолжительное время после побед, память о них будет ослабевать и значение победителя уменьшаться, как бы ни были полезны его внутренние учреждения и распоряжения; как скоро благодаря либеральным формам, которых власть обойти не могла, выскажутся либеральные начала, борьба с ними заставит забыть всякую внутреннюю заслугу. Оставалось одно средство для новой, неосвященной власти сохранять вполне свою силу – это постоянно отвлекать внимание народа от внутреннего к внешнему, постоянно ослеплять славолюбивый народ военной славой, поддерживать нравственное преклонение перед властью постоянными ее триумфами. Но и тут одной нравственной поддержки было недостаточно. Как для борьбы внешней, так и на случай борьбы внутренней необходимо было войско, войско вполне преданное, боготворившее вождя; а эту преданность войска государь вчерашнего дня мог поддерживать только постоянными войнами и победами, усиливая постоянно значение войска в глазах народа, делая войско представителем народа, сосредоточивая в армии дух нации; с другой стороны, питая честолюбие и корыстолюбие вождей второстепенных почестями и выгодами, которые они получали после каждой войны, то есть после каждого завоевания. Таким образом, кроме основного характера своего как предводителя войска, характера, от которого Бонапарт, разумеется, не мог никак отказаться, который долженствовал быть всегда на первом плане и требовать постоянного удовлетворения, по самому положению своему, для поддержания этого положения он должен был вести постоянные войны. Слова «Наполеон, Французская империя» стали для Европы синонимами постоянной войны, постоянных завоеваний, постоянных территориальных изменений, не говоря уже о том, что каждая война, оканчивавшаяся успехом, завоеванием, порождала необходимую новую войну, усиливая обиду, увеличивая число обиженных, раздраженных.

Франция осуждена была на постоянные войны, постоянные победы и завоевания, что необходимо вело ко всемирной монархии. Но основное начало европейской политической жизни состояло в недопущении такой монархии. Наполеон должен был формально уступать

этому началу. Как республиканская Франция, вступив в борьбу с монархической Европой, из завоеванных ею стран делала республики, по-видимому, независимые, не сливая их с собою, но только умножая число однородных по формам государств для противовеса государствам с другими формами, так и Наполеон, переменив правительственную форму во Франции, ставши в ней монархом, переделал эти республики в государства с монархическими формами, устраивая подобные же государства и из дальнейших завоеваний, государства, по-видимому, независимые, посажал на престолы их своих родственников для своей безопасности и удобств, продолжая производить в Европе перевороты только династические. Здесь, повторяем, была уступка господствовавшему в европейской истории началу; Франция и ее император, по-видимому, не хотели всемирной монархии; отдельные народности, по-видимому, были обеспечены. Но это только по-видимому; уступка была только формальная; на самом же деле народности ни в нравственном, ни в материальном отношениях не были обеспечены от тяжкого преобладания французского народа. Их новые правители были вассалами Французской империи, чувствовавшими тяжелую руку своего сюзерена при первой попытке подумать об интересах своих государств не в связи с интересами империи, как они представлялись императору французов. Таким образом, обман в уступке правам народностей оказывался с самого же начала и опасность, грозившая, по-видимому, только старым династиям, грозила одинаково и народностям, вследствие чего в необходимой борьбе против всемирной монархии дело старых династий тесно связалось с делом народностей.

Европа должна была бороться против императорской Франции одним способом, который уже давно употреблялся в подобных случаях: посредством соединения сил остальных держав против державы, стремящейся к преобладанию, посредством так называемой коалиции. Успех борьбы на стороне коалиции считался по опыту и простоте расчета несомненным, и если борьба была продолжительная и страшная и долгое время Франция победоносно боролась с коалициями, то необходимо предположить кроме чрезвычайного напряжения сил и особенно благоприятных условий на ее стороне также упадок сил и особенные неблагоприятные обстоятельства на стороне противоположной. Мы употребили множественное число: «коалиции», и это уже самое показывает слабость общего действия, перерыв его, недружность стремления, что и давало возможность долгого торжества Наполеону. Правила его политики, которая служила подспорьем его наступательным военным движениям, были, естественно, одинаковые с военными правилами: быстрым, внезапным движением не дать времени неприятельским силам сосредоточиться, разрезывать враждебное войско, бить его по частям; и в то же время переговорами не давать государствам вступать в союзы, расстроивать коалицию, разъединять интересы держав и сокрушать их силы поодиночке. На стороне противника были условия, которые долгое время давали ему возможность употреблять эти средства с блестящим успехом.

Эти условия высказались еще в конце прошлого века при борьбе с революционной Францией. Окруженная слабыми, мелкими, разъединенными государствами итальянскими, немецкими, Швейцарией, Франция могла быстро овладеть ими, равно как и Голландией, которой австрийские Нидерланды по своей отдаленности от главной державы служили плохой защитой. Препятствие она могла встретить в восточных, самых сильных германских державах – старой Австрии и молодой Пруссии, которые должны были защищать Германию. И действительно, первая коалиция, образовавшаяся против революционной Франции, была коалиция австропрусская. Но могла ли быть крепка коалиция между державами, у которых вовсе еще не остыла ненависть друг к другу, вынесенная из Силезской и Семилетней войн? Каждая из держав с напряженным вниманием следила за всяким движением другой: не имело ли это движение целью приобресть что-нибудь, усилиться; в каждой из них неудача другой возбуждала великую радость, а малейший успех – тревогу и досаду. Обязанные защищать Германию от французов, вступая поневоле в коалицию, Австрия и Пруссия имели прежде всего в виду не Французскую войну, а наблюдение, чтобы одна как-нибудь чего-нибудь не приобрела больше, чем другая;

они загодя уже выговаривали себе плату за войну, которая сама по себе не могла окупиться: Австрия брала себе Баварию взамен невыгодных для нее Нидерландов; Пруссия – польские области по второму разделу. Пруссия, скрепя сердце, соглашалась на эту сделку, ибо долю Австрии считала значительнее своей.

Коалиции и при лучших отношениях между союзниками удаются тогда, когда коалиция, ее цель для них на первом плане; когда все счеты по частным интересам они откладывают до времени совершенного достижения этой цели; когда идут прямо к ней, не озираясь на стороны: понятно, что австро-прусская коалиция не удалась. Невольные союзники перессорились из-за дележа добычи. Австрия действовала враждебно против Пруссии при втором разделе Польши; Австрии не хотелось допустить Пруссию немедленно же приобрести польские области, тогда как усиление Австрии через промен Бельгии на Баварию было только еще впереди; потом Пруссия не хотела допустить Австрию к участию в третьем разделе Польши. Коалиция представляла картину постоянной борьбы между союзниками, и, наконец, Пруссия заключила отдельный мир с Францией в Базеле (1795), пожертвовав интересами Германии, причем в Берлине министры высказывались так: «Как можно скорее и с какими бы то ни было пожертвованиями мы должны заключить отдельный мир с Францией. Хуже всего то, что мы точно так же должны бояться побед наших союзников, как и торжества наших врагов. Каждый успех Австрии против французов есть шаг к нашей пагубе».

Австрия оставалась одна, но оставить ее одну значило отдать на жертву Франции, упрочить торжество и преобладание последней в Европе. Обязанность воспрепятствовать этому, спасти Европу от французской игемонии падала на две другие сильнейшие державы – Россию и Англию. Обе в описываемое время очень хорошо сознавали эту обязанность, разумеется тесно соединенную с самыми существенными их интересами. В Англии могли найтись люди, которые говорили: зачем нам вмешиваться в дела континента, море спасает нас от опасности со стороны тамошних завоевательных стремлений; и в России могли найтись люди, которые говорили и теперь, и после: Франция далеко от нас, нападать на нас не может, из-за чего же мы будем воевать с нею, вмешиваясь в чужие дела? Но такой близорукий взгляд не мог быть разделяем государственными умами обеих стран, ибо отдаленность и не такая, как отдаленность Франции от России, не спасала народов от нашествия завоевателей, и мудрость политическая состоит в предусмотрении и предотвращении опасности в самом ее зародыше.

В Англии могли радоваться смутам Французской революции в их начале, но когда волнение по самому положению Франции, по ее историческому значению и характеру народа быстро начало выходить из берегов, грозя залить всю Европу, Англия вооружилась и с ничтожным перерывом вела неутомимую борьбу до тех пор, пока французский разлив не вошел в берега. В России Екатерина II оканчивала свое знаменитое царствование с неослабной деятельностью и нетускнеющей ясностью политического взгляда. Екатерина поняла, что ей относительно Франции предстоит тот же образ действий, какой был принят императрицей Елисаветой относительно Пруссии, то есть установлять и поддерживать коалиции держав против напора завоевательного движения. Англия, как держава неконтинентальная, по незначительности сухопутных сил не могла принимать непосредственно важного участия в борьбе на материке Европы, она должна была стараться составлять коалиции и поддерживать их преимущественно денежной помощью. Россия по своей отдаленности от Франции также не могла принять непосредственное участие в борьбе, она должна была составлять и поддерживать войском коалицию ближайших к Франции держав, преимущественно Австрии и Пруссии; при этом тесный союз России с Англией подразумевался.

Екатерина, с самого начала следя зорко за всеми фазами революции и ее разливом, выступлением из границ Франции, считала необходимостью поддерживать австро-прусскую коалицию. Будучи занята вначале ближайшими отношениями к Швеции, Турции и Польше, она могла поддерживать борьбу против Франции только деньгами; для прекращения внутрен-

него революционного движения во Франции она считала единственным средством внутреннее же национальное движение; по ее взгляду, французские принципы могли успеть в своих предприятиях только в том случае, если бы действовали по примеру Генриха IV. Отпадение Пруссии от коалиции, невозможность оставить одну Австрию без помощи заставили Екатерину заключить союз с Англией и Австрией, причем Россия обязалась выставить корпус войска для поддержания последней. Но смерть Екатерины расстроила дело; Павел I не захотел продолжать его; следствием были разгром Австрии Бонапартом и Кампо-Формийский мир.

В самом конце XVIII века образовалась другая коалиция: из России, Австрии и Англии, но от этой коалиции только на долю России выпала слава суворовских подвигов. Коалиция была неполная, ибо в ней не участвовала Пруссия; у союзников не было ясного, определенного плана действия; не было утверждено, что все частные счеты и распределения должны происходить только по достижении общей цели. Россия вела войну по принципу, чему благоприятствовали ее отдаленность, ее независимость от преданий прошлого и от непосредственных отношений к Франции, от которых могли бы родиться частные интересы и счеты. Но Австрия жила преданиями, вела с Францией долгую борьбу, длинные счеты, и при каждом возобновлении борьбы все принимало в ее глазах практический смысл. В продолжение многих веков она боролась с Францией в Италии, которая по отсутствии государственного единства и проистекавшей отсюда слабости представляла свободную арену для борьбы сильных соседей, была «res nullius, quae cedit primo occupanti» (ничья вещь, которая отходит к первому, кто ею завладел. Пер. с лат.; шутл. применение к Италии тех времен одного из положений римского гражданского права: «Ничейная вещь отходит к первому, кто ею завладел».-*Примеч. ред.).* Практический вопрос для Австрии постоянно состоял в том, усилиться ли самой в Италии или дать усилиться в ней Франции. Достижение цели, поставленной Россией – восстановление престолов и алтарей, – не вело к решению практического вопроса, ибо восстановление мелких итальянских владений, не давая Италии силы и самостоятельности, не прекращало на ее почве борьбы между Австрией и Францией. Практический вопрос решался однажды навсегда объединением Италии, но до этого было еще далеко; пока он решался таким образом: получит успех в борьбе Австрия – Италия или по крайней мере преобладание в ней должно принадлежать Австрии; восторжествует Франция – она и должна господствовать в Италии. При таком различии отношений, взглядов и стремлений, – различии, не отстраненном вовремя сознанием общей опасности и необходимости прежде всего довести до конца избавление от нее, коалиция не могла быть прочна и продолжительна, даже оставя в стороне влияние характера главных деятелей. Коалиция кончилась разрывом, враждой, которая грозила совершенной переменой системы: Россия вступала в союз с Францией и в войну с Англией. В эту-то решительную для Европы минуту в России произошла перемена: на престол вступает молодой император Александр I.

Прошел ровно век со вступления России в общую жизнь Европы, и ни один еще государь не всходил на русский престол при таком затруднительном положении европейских дел, как Александр I, которому предназначено было принять такое первенствующее участие в выводе Европы из этого положения, так наглядно показать значение вступления России в общую европейскую жизнь. Александр взошел на престол еще очень молодым человеком. Ему было 12 лет, когда началась революция во Франции, и не исполнилось еще 19-ти лет, когда революция, обманувши столько надежд, оканчивалась, выставив новые силы и отношения и оставляя столько вопросов на решение игре этих новых сил и отношений, и в то же время умирает великая бабка, – отнялась от России сильная, искусная, опытная правительственная рука, и началось сильное колебание, качка, повергавшая экипаж корабля все более и более в печальное, болезненное состояние. В это время молодой Александр должен был принять обязанности кормчего. Необыкновенно восприимчивый, впечатлительный по природе, в самый впечатлительный возраст он подвергался впечатлению целого рода явлений, небывалых по своей силе, и, когда оглушительное действие их стало прекращаться, началась эта внутренняя тряска,

качка, которые не давали покоя и возможности для сосредоточения мыслей и чувств. Впечатление от этой качки могло бы еще ослабевать, если бы молодому человеку можно было привыкнуть мысленно сосредоточиваться на важных занятиях, входить в подробности дел и через это создавать под собой твердую почву, вращаться среди действительных, близких, осязуемых отношений. Но таких занятий он был лишен; он осужден был относиться ко всему или страдательно, или отрицательно. События, отдаленные по своей силе и значению, действовали могущественно, захватывали все внимание; явления ближайшие шли поодаль, являлись чуждыми и мелкими. С конца XVIII века начинается новый период в новой русской истории вследствие новой постановки и осложнения европейских отношений.

С начала XVIII века и до последнего его десятилетия отношения России к Западной Европе были просты и спокойны. При сравнительном взгляде на свое и чужое в народе живом и развивающемся являлась сильная потребность, стремление заимствовать как можно скорее и как можно полнее то, что являлось лучшим у опередивших нас в цивилизации народов, и это заимствование казалось легким, ибо на все заимствуемое смотрели как на что-то внешнее, на все нововведения по чужому образцу смотрели как на переодевание в более удобное и красивое платье. Это делалось очень легко, без всякой внутренней, нравственной тяжести, безо всякого нравственного принижения. Напротив того, русский человек высоко поднимал голову, чувствуя своюсилу, свое превосходство. Перед ним возвышался небывалый образ исторического деятеля – образ Петра Великого; народная гордость питалась значением европейской деятельности дочери Петра, удачей и блеском планов Екатерины II. Политические отношения к европейским народам, к их государственному устройству были также просты и, так сказать, внешни; различные политические формы производили главное впечатление только по отношению к силе или слабости государства. Польша погибала вследствие своих республиканских форм; в Швеции боялись больше всего усиления королевской власти, ибо это усиление дало бы стране могущество, сделав ее опасной для соседей.

Но события последнего десятилетия XVIII века произвели переворот во взглядах и отношениях: то, о чем прежде читалось только в книгах и могло спокойно, на досуге, по выбору, с переделками и ограничениями, по воле власти, применяться к известному государственному строю, то теперь из теории перешло в практику в самых широких размерах с явным стремлением на деле пересоздать общества на новых началах. Вопросы внутреннего строя народов выдвинулись вперед, овладели вниманием мыслящих людей, стали определять симпатии и антипатии правительств и народов. Такое осложнение отношений не могло остаться без сильного влияния на русских людей, давление западноевропейских явлений удвоилось, и для многих спокойное отношение к ним исчезло и заменилось более страстным, то есть более страдательным. Таким образом, отношения русских людей к европейской цивилизации в XIX веке явились иные, чем были в XVIII, и поколение, которого император Александр I был представителем, стояло на границе двух веков, на границе двух миров и должно было выдержать первый напор от усиленного влияния Запада, тамошних порывистых движений вперед и соответственно порывистых отступлений назад или реакций. Деспотизм Наполеона сменил революционные бури; наполеоновский гнет над своими и чужими народами усилил симпатии к подавленным этим гнетом формам, которые и ожили вследствие падения Наполеона, и в свою очередь начали грозить усиленным развитием и порождать реакции. Не могши по своему положению быть простым зрителем этих движений при сознании своих средств, дававших возможность могущественного участия и решения, Александр, естественно, признал своей задачей как внешнее, так и внутреннее успокоение народов, примирение борющихся начал. Задача обольстительная; но была ли она легка?

Наконец, затруднительность положения молодого императора увеличивалась отсутствием помощников в первое, самое тяжелое время. Для народного утешения Александр объявил, что будет царствовать по мысли бабки своей Екатерины, и собрал около себя оставшихся

деятелей знаменитого царствования. Но это были деятели второстепенные, исполнители, привыкшие ждать внушений и по ним действовать; другие же, более самостоятельные люди не имели тех способностей, которые дают силу совету, мнению, или имели одностороннее направление, или были далеко и не хотели приблизиться. Все это были уже старики, а государственная машина, естественно, нуждалась в новых, молодых работниках, которые, разумеется, вносили в работу новые понятия и стремления. Явились одна подле другой две группы людей, имеющих мало общего друг с другом. Император, по возрасту своему, естественно, более близкий к молодым, должен был соединять старых с молодыми и обыкновенно соединял их попарно в известных кругах деятельности, подле старика ставил молодого, прибирал их по известным отношениям друг к другу, чтобы не было между ними борьбы.

Новый император обещал царствовать по мысли знаменитой бабки; внешние отношения, которые он получил в наследство, были определены вовсе не по мысли Екатерины II, и, несмотря на то, Александр и лучшие люди должны были сознавать, что было бы вовсе не по мысли Екатерины круто и порывисто изменить все эти отношения. Александр наследовал войну с Англией, вражду с Австрией, сближение с Францией и Пруссией и некоторые тяжелые для России обязательства относительно государств второстепенных. Бесцельную и по обстоятельствам больше чем бесцельную войну с Англией надобно было прекратить, пока она еще не началась настоящим образом, но в союзе с Англией и в пожертвованиях для этого союза другими отношениями не предстояло еще нужды. По общему ходу дел надобно было прекратить и вражду с Австрией, но эту разгромленную Бонапартом Австрию нельзя было сейчас же сделать авангардом новой коалиции против Франции; относительно же последней нужно было, естественно, принять выжидательное положение: что будет с этой республикой, которой управлял победоносный генерал под именем первого консула. Чего должна ждать от этого генерала Европа: новых ли завоевательных движений, которым должно противопоставить новые коалиции, или Бонапарт обратится к внутреннему устройству потрясенной революцией Франции и этим даст возможность и другим державам разоружиться и заняться внутренними делами; последнее казалось маловероятным, но во всяком случае надобно было ждать.

В инструкции русским министрам при иностранных дворах высказаны были основания политики императора Александра (4 июля 1801 года). Император отказывается от всяких завоевательных замыслов и увеличения своего государства.

«Если я подниму оружие, – говорит он, – то это единственно для обороны от нападения, для защиты моих народов или жертв честолюбия, опасного для спокойствия Европы. Я никогда не приму участия во внутренних раздорах, которые будут волновать другие государства, и, каковы бы ни были правительственные формы, принятые народами по общему желанию, они не нарушат мира между этими народами и моею империей, если только они будут относиться к ней с одинаковым уважением. При восшествии своем на престол я нашел себя связанным политическими обязательствами, из которых многие были в явном противоречии с государственными интересами, а некоторые не соответствовали географическому положению и взаимным удобствам договаривающихся сторон. Желая, однако, дать слишком редкий пример уважения к публичным обещаниям, я наложил на себя тяжелую обязанность исполнить, по возможности, эти обязательства. Убежденный, что союз великих держав может один восстановить мир и общественный порядок, которого нарушители торжествовали при пагубном разрыве этого союза, я немедленно позаботился о том, чтоб обмануть их надежды, заявивши венскому двору искреннее желание забыть все прошлое. Общий план вознаграждений (государствам, пострадавшим от французских завоеваний) будет главным предметом моих переговоров с венским двором, и, если он хочет искренно содействовать моим благодетельным видам, мы соединим наши усилия для того, чтоб этот план был принят и Пруссией. Большая часть германских владений просят моей помощи. Независимость и безопасность Германии так важны для будущего мира, что я не могу пренебречь этим случаем для сохранения за Россией первенству-

ющего влияния в делах империи. Решившись продолжать переговоры, начатые с Францией, я руководствовался двойным побуждением: упрочить для моей империи мир, необходимый для восстановления порядка в разных частях управления, и, в то же время, по возможности содействовать ускорению окончательного мира, который бы дал Европе время восстановить поколебленное здание социальной системы. Если первый консул сохранение и утверждение своей власти поставит в зависимость от раздоров и смут, волнующих Европу, если он не признает, что власть, основанная на неправде, всегда непрочна, ибо питает ненависть и дает законность возмущению, если он позволит увлечь себя революционному потоку, если, наконец, он вверит себя одному счастию, война может продолжиться, и при таком порядке вещей уполномоченный, которому вверены мои интересы во Франции, должен ограничиться наблюдением хода тамошнего правительства и тянуть время, пока обстоятельства более благоприятные позволят употребление средств более действительных. Но в случае, если первый консул окажется более понимающим собственные интересы и более чувствительным к истинной славе, если захочет излечить раны, нанесенные революцией, и дать своей власти основание более прочное уважением независимости правительств, то многие чрезвычайно веские соображения могут внушить ему желание искреннего согласия с Россией и заставить принять ряд мер к восстановлению европейского равновесия: в таком случае переговоры, начатые в Париже, могут повести к удовлетворительным результатам. В этом предположении моему уполномоченному велено предложить тюльерийскому кабинету многие статьи, которые могут служить основанием ко всеобщему умиротворению. Легкость, с какой Бонапарт принял большую часть из них, не дает еще мне достаточного ручательства в том, что он разделяет мои виды. Возможно, что он будет охотнее содействовать им, когда лучше узнает их добросовестность и бескорыстие; верно то, что в царствование покойного императора консул имел особенно в виду приобресть помощь моего августейшего родителя против Великобритании, а теперь, быть может, он старается только выиграть время для выведания моей системы, чтоб, по соображению с нею, распорядить и свои политические операции, не обращая внимания на обязательства, заключенные в промежуточное время. От его дальнейшего поведения будет зависеть мое решение, и необходимая осторожность не позволяет мне ускорить этим решением. Я поручил графу Моркову (русский посол в Париже) дать первому консулу самые положительные удостоверения, что в моих сближениях с дворами венским и лондонским не скрывается никакого враждебного намерения против Франции; что ни тот, ни другой не предлагал мне наступательного союза и что я не буду принимать подобных предложений, если французское правительство будет уважать права и независимость моих союзников».

Это изложение политики нового императора прежде всего останавливает внимание заявлением начала невмешательства во внутренние движения и установления правительственных форм в других государствах; правительство Наполеона и всякое другое не могло быть помехой сближению и общему действию России с Францией, если только это французское правительство не будет продолжать завоевательного движения; в противном случае Россия будет служить твердой стеной, на которую обопрется всякая коалиция против нападчика. Коалиции еще нет, сближение с Англией и Австрией не есть наступательный союз с ними; но сближение превратится в такой союз, если Франция начнет наступательное движение. В этой, по-видимому, столь умеренной и осторожной программе положено было начало борьбы с наполеоновской Францией, могшей кончиться только падением знаменитого корсиканца, ибо твердо и ясно было выставлено начало недопущения преобладания Франции в Европе.

Но эта мирная программа повела прежде всего к ожесточенной борьбе между русским послом в Лондоне графом Семеном Романовичем Воронцовым и управляющим иностранными делами в Петербурге графом Никитою Петровичем Паниным – к борьбе, в которой всего лучше отражаются отношения императора Александра к людям, наследованным им от предшествовавших царствований. Автором или редактором приведенной инструкции был граф

Никита Петрович Панин, заведовавший почти исключительно иностранными делами, ибо другой *парный* министр, князь Александр Борисович Куракин, не принимал участия собственно во внешних сношениях. Панин был унаследован Александром от павловского царствования, был деятелем этого времени. Собственно представителем екатерининского царствования из дипломатов оставался граф Морков, принимавший важное участие в последних его событиях, но Морков был отправлен в Париж вести переговоры с первым консулом и наблюдать за ним.

Были еще два старых дипломата, братья Воронцовы, граф Александр и граф Семен Романовичи; по времени своего служения оба они всецело принадлежали екатерининскому царствованию, но в действительности не были и не хотели быть его представителями по фамильным отношениям. Родные племянники елисаветинского канцлера графа Михаила Илларионовича Воронцова, они всеми своими лучшими воспоминаниями и самыми сильными привязанностями принадлежали царствованию знаменитой «дщери Петровой»; будучи родными братьями Елисаветы Романовны Воронцовой, они не разделяли симпатий и антипатий другой своей сестры, Екатерины Романовны (Дашковой), и враждебно встретили переворот 28 июня. Екатерина II, не умевшая удалить от службы способных людей, не удалила от нее и Воронцовых, но не могла питать к ним и особенного расположения; они никогда не могли надеяться на приближение, чувствовали себя постоянно в почетной опале и потому постоянно находились в оппозиции главным силам и их деятельности. Никита Иванович Панин, заменивший канцлера Воронцова (графа Михаила Илларионовича) в управлении иностранными делами, не терпел Воронцовых и заставил графа Александра Романовича покинуть дипломатическое поприще, и этим создал себе и своей политической системе непримиримых врагов в графе Александре и брате его Семене, которые по тесной дружбе составляли одного человека, так что граф Семен, переменивший впоследствии военное поприще на дипломатическое, в переписке своей не щадил выходок против Панина и его управления, видел одни ошибки в его политической системе, в прусском союзе и его следствиях.

Граф Александр, перешедши к делам внутреннего управления, с почетом занимал важные должности, был сенатором, президентом Коммерц-коллегии, но стоял в отдалении собственно от двора, и клиенты Потемкина считали его влиятельным членом кружка, враждебного их патрону; последнее время царствования Екатерины и все царствование Павла он провел вдали от дел. Выше его по способностям был граф Семен, занимавший с 1785 года пост русского министра при лондонском дворе до самой кончины Екатерины. Осыпанный сначала милостями при Павле, он вдруг подвергся опале, был отставлен, имение его конфисковано. Александр по восшествии на престол поспешил отнестись к обоим Воронцовым с особенной лаской и уважением; граф Семен восстановлен был на прежнем любимом месте; граф Александр сделан членом Совета. Граф Семен, оставаясь горячим патриотом, с участием следя за всем, что делалось в России, не мог, однако, не подвергнуться влиянию долгого пребывания вне России и в стране, которая ему по разным причинам очень нравилась, приходилась вполне по его природе, не способной гнуться пред людьми и обстоятельствами, по стремлению к независимости. Министр, которому не очень по душе та страна, в которой он служит представителем своего государства, спокойнее, беспристрастнее смотрит на отношения к ней своего отечества, легко мирится и с мыслью о возможности охлаждения между ними, и с мыслью о возможности покинуть свой пост. Но министр, которому очень нравится в стране, где он пребывает, боится столкновения между ней и своим отечеством как имеющего нарушить его привычные отношения и связи, столь дорогие ему, боится мысли быть принужденным совершенно порвать их и удалиться из любимой среды. Упрек, который делали графу Семену в его пристрастии к Англии, нельзя назвать неосновательным: доказательством служило его неудовольствие на постановление вооруженного нейтралитета, который естественно и необходимо вытекал из национальной русской политики, был на море таким же действием, каким на суше участие России в Семилетней войне и борьба ее с Наполеоном. Но с последнего десятиле-

тия XVIII века положение графа Семена было чрезвычайно выгодно, потому что по необходимости борьбы с Францией тесное сближение России с Англией стояло на очереди, должно было требоваться государственными людьми как необходимость.

Граф Семен Воронцов сначала был хорошо расположен к графу Н. П. Панину; это расположение Панин умел заискать уважением, доверенностью, которые выражались в его письмах к Воронцову. Но граф Александр Воронцов написал брату очень дурной отзыв о характере представителя неприятной фамилии, и этого было довольно, чтобы переменить отношения графа Семена к Панину: с одной стороны, неограниченное доверие к брату, с другой – невольное раздражение старика, принужденного находиться в известном подчинении у молодого человека, – раздражение, которое обыкновенно ищет только предлога, оправдания, чтобы выразиться. Панин еще в царствование императора Павла имел неосторожность высказать в одном из писем к графу Семену основания своей политической системы, эта система состояла в союзе с Англией, Пруссией и Портой Оттоманской.

«По моим принципам, – писал Панин, – надобно обуздывать честолюбие Австрии политикой Екатерины II и сдерживать Швецию союзом с Турцией». Но эта политика очень напоминала политику дяди Панина, знаменитого Никиты Ивановича, вследствие чего племянник в глазах Воронцовых явился таким же пруссаком, как и дядя, а этого наследственного греха простить ему было нельзя, особенно когда приверженец прусского союза не употреблял всех своих усилий для удовлетворения требованиям Англии – необходимых, по мнению приверженца английского союза.

Так, графу Моркову поручено было, между прочим, предложить Бонапарту посредничество России в примирении Франции с Турцией. В Англии сильно встревожились, потому что боялись влияния Франции в Константинополе. Сам король счел нужным переговорить об этом с Воронцовым. «Император Павел, – говорил Георг III, – во время самой сильной ненависти против нас, сделал это предложение Бонапарту, зная, что мир между этим консулом и Портой будет чрезвычайно вреден и враждебен для Великобритании, а нынешний император, друг Великобритании, делает Франции то же предложение, какое император, его отец, сделал по ненависти. Положим, что император Александр также питает нерасположение к Англии, что, впрочем, кажется невозможным; но зачем же он хочет принести в жертву и Турцию; ибо какую безопасность этим миром она приобретет против интриг Франции, для которой нет ничего священного? Франция снова поведет выгодную торговлю с Левантом, которая даст ей средства продолжать войну с нами. Она заведет консула, вице-консула и других агентов по всем областям Турции, где они сделают то же, что их товарищи сделали в Швейцарии: станут революционировать греков, и меньше чем в три года Европейская Турция представит сцены более страшные, чем те, которые опозорили человечество во Франции в первые годы ее проклятой революции. Я предоставляю его величеству императору обсудить: справедливо ли и выгодно ли для его империи подвергать пожару соседку Турцию. Революция, начавшись в Эпире, Македонии, Боснии, Болгарии, перейдет в Молдавию и Валахию и явится на границах Русской империи. Но прежде всего Порта очутится в неловких отношениях к Англии, которые необходимо поведут к войне. Эта война ускорит гибель Турции, ибо Франция под предлогом сохранения для Порты стран, подверженных нападению английских эскадр, введет туда французские гарнизоны, которых уже больше не выведет и которые сделаются центром для революционирования жителей. Таким образом, если его величество император желает охранить Турцию, которая вовсе для него не опасна, то он должен не советовать ей заключения отдельного мира с Францией, но внушать ей, чтоб она не отставала от Великобритании, которая никогда не покидает своих союзников и не постановит мира с Францией, не включив в него Порты».

Но в Петербурге никак не трогались объяснениями его великобританского величества, что сильно беспокоило и раздражало Воронцова, делая неловким его положение в Англии, где имели право думать, что он или не хочет настаивать при своем дворе на удовлетворении

английским требованиям, или не может этого сделать, не имеет достаточно влияния. В этом раздражении Воронцов обрушивается на Панина: он всему виною, через него одного император ведет иностранные дела, с ним одним советуется; другое дело, если бы иностранные дела проходили через Совет: там брат Александр и его единомышленники. В это время сильного раздражения приходит циркулярная инструкция. Ее написал Панин, мальчик, которому было 13 лет, когда Воронцов оставил Россию, а теперь этот мальчик пишет наставления, и какие наставления! Инструкция представляла в некоторых местах темноту, в некоторых подробностях противоречие, представляла некоторые неудачные выражения. Воронцов решился воспользоваться всем этим, разгромить инструкцию и сделать это в письме к самому императору. Основные положения Воронцова были: иностранные дела должны обсуждаться в Совете пред государем, а не поручаться одному лицу; этим доверенным лицом никак не может быть Панин. Громя инструкцию, Воронцов делал вид, что приписывает ее одному Панину, выделяя совершенно императора, что для последнего могло быть не менее оскорбительно. Но Воронцов сослался на письмо Александра, где тот писал ему: «Я должен вас благодарить за то, что вы сочли меня достойным внимать истине. Жду от вашей верности и от вашего патриотизма, что вы будете продолжать говорить мне с той же прямотой».

Александр не отрекся от этих требований своих; он благодарил Воронцова за откровенность, с какой написано его письмо, повторял, что требует от каждого правды, и в доказательство, с каким удовольствием будет он принимать все, что напишет ему человек таких лет, такой опытности и таких заслуг, как Воронцов, император вошел в объяснение по поводу его письма. Он признал пользу обсуждения иностранных дел в Совете и высказывал надежду, что впоследствии будет возможность вносить в Совет дела наиболее важные, но до сих пор он не мог этого сделать, должен был ограничиться работой в кабинете с каждым из министров отдельно, потому что уже нашел такой порядок установленным и не хотел изменять его, не приобретя прежде известной опытности и известного спокойствия, которые могли бы дать средства подумать о перемене полезной. Александр признавал всю справедливость замечаний Воронцова насчет пользы сближения с Англией, но замечал в свою очередь, что нельзя было вдруг в пользу Англии отказаться от начал вооруженного нейтралитета, пожертвовать выгодами северных держав, Швеции и Дании, которые Россией же были привлечены к союзу против Англии, и нельзя было вдруг удовлетворить всем требованиям Англии; это значило бы обнаружить страх перед ее флотом, который находился в Балтийском море вследствие враждебных отношений к Англии императора Павла.

«Но теперь, – писал Александр, – когда опытность освоила меня с этими предметами, и затруднения, встреченные мной при восшествии на престол, начинают ослабевать, конечно, я не смешаю интересов России с интересами северных держав. Я особенно постараюсь следовать национальной системе, то есть системе, основанной на выгодах государства, а не на пристрастиях к той или другой державе, как это часто случалось. Я буду хорош с Францией, если сочту это полезным для России, точно так, как теперь эта самая польза заставляет меня поддерживать дружбу с Великобританией». Наконец, император счел нужным упомянуть и о мнении английского короля относительно примирения Турции с Францией, потому что Воронцов сильно настаивал на справедливости этого мнения и требовал его принятия. Александр объявил, что он не признает его основательным. Россия не могла отказать Порте в посредничестве для примирения ее с Францией, тем более что в случае отказа Порта обошлась бы и без русского посредства, обратившись прямо к французскому правительству; кроме того, отказ возбудил бы в турках подозрение относительно видов России, тогда как следует сохранять их доверие. Наконец, принятие посредничества необходимо следует из искреннего желания императора видеть установление всеобщего спокойствия; Россия точно так же предложила свое посредничество и Англии для примирения ее с Францией.

Спокойный тон, который господствовал в письме государя в сравнении с раздражительностью и страстностью, отличавшими письмо подданного, придавал письму Александра особенное величие и объяснениям императора – особенную вескость. Воронцов не мог не почувствовать всей силы урока, который дан был ему, старику, очень молодым государем, несмотря на все уверения последнего в своем уважении и доверии к летам и опытности заслуженного вельможи. Особенно урок был силен в пункте о национальной политике, которая исключает пристрастие к той или другой державе. Воронцов должен был увидать, что, преследуя Панина, встретился с борцом более сильным и что сущность инструкции принадлежала не Панину, а самому Александру, готовому защищать ее.

Что же касается графа Панина, то император в этом же письме объявлял Воронцову, что молодой министр сам удалился от дел, недовольный, как говорили, тем, что император недостаточно наградил его в день коронации, и тем, что по поводу жалобы, поданной на него князем Куракиным, император взял сторону последнего. Но торжество Воронцовых зависело не от удаления Панина, а от того, что *национальный интерес* делал невозможным сближение с Францией и Пруссией, а требовал сближения с Англией и Австрией. Вполне соответственно этому требованию в челе управления иностранными делами явился граф Александр Воронцов, составлявший по своим убеждениям одно существо с братом. Помощником старику Воронцову был придан друг молодости императора польский князь Адам Чарторыйский. Чарторыйский нравился обоим Воронцовым: он, по-видимому, вполне разделял их взгляды, не мог быть приверженцем прусской системы Паниных, которая повела к разделу Польши; какой же был собственный взгляд Чарторыйского – о том он Воронцовым не говорил.

II. Первый разрыв с Наполеоном

В начале XIX-го века Европа представляла удивительное на первый взгляд явление, бывшее результатом всей ее истории. Два крайние государства ее на континенте, Россия и Франция, не имевшие, по-видимому, никаких точек соприкосновения, стояли друг перед другом, готовые к борьбе. Что против Франции на первом плане стояла Россия, это самое показывало уже, что дело идет не о частном каком-нибудь интересе. От Франции шло наступательное, завоевательное движение; в ее челе стоял первый полководец времени, задачей которого было ссорить, разъединять, бить поодиночке, поражать страхом, внезапностью нападения, силой притягивать к себе чужие народы.

От России, наоборот, шло движение оборонительное, и государь ее в соответствии этому характеру движения отличался не воинственными наклонностями, не искусством бранного вождя, но желанием и умением соединять, примирять, устраивать общее действие, решать европейские дела на общих советах, приводить в исполнение общие решения. Во время борьбы с Наполеоном Александр является составителем и вождем коалиций для отпора завоевательному движению Франции. С окончательным успехом последней коалиции, с низвержением виновника завоевательного французского движения целью Александра является поддержание общеевропейского союза для сохранения мира и общественного порядка, поддержание общего действия, общего управления Европы посредством собраний, советов государей и уполномоченных их, посредством конгрессов. Таким образом, деятельность Александра 1-го вследствие личного характера его и вследствие положения Европы и России разделяется 1814 годом на две половины: эпоху коалиций и эпоху конгрессов.

Если император Александр с самого начала своего царствования предвидел, какая деятельность предстояла ему в европейских событиях – деятельность начинателя и главы коалиций против завоевательных стремлений Франции, то Наполеон так же ясно видел, что такая деятельность могла принадлежать только России, ее государю. Без России никакая коалиция если бы и была возможна, то не была бы ему опасна, и потому главная цель его политики в отношении к России заключалась в том, чтобы разными хитростями и приманками отталкивать Россию по возможности от связи с другими державами, пока не принудит их поодиночке подчиниться своей воле: тогда Россия должна будет отказаться от деятельности, оставшись в одиночестве, и если вздумает противиться, то будет поражена всеевропейской коалицией, направленной против нее под знаменами первого полководца века. Как в прошлом столетии Фридрих II заключил союз с Россией и, обеспечив себя им, не хотел слышать с русской стороны предложений расширить этот союз введением в него ряда других, слабейших держав, ибо это связывало ему руки, так теперь Наполеон не хочет слышать русских предложений вести дела сообща с какой-нибудь другой державой.

Для России нужна прочность отношений между державами, обеспечивающая продолжительный мир, а эта прочность отношений условливается союзом большинства значительнейших держав. Александр не хотел исключать из этого союза могущественную Францию, хотел ее присутствием в союзе еще более скрепить его; но человек, управлявший Францией под именем первого консула, вовсе не хотел прочности отношений между державами, ведшей к продолжительному миру. Он смотрел на мир только как на перемирие, дававшее передышку и время устроить некоторые выгодные для будущей войны отношения, потому Наполеон не хотел слышать ни о каком общем деле, общем соглашении, которое бы связывало ему руки. Русский посланник Колычев, отправленный в Париж еще императором Павлом, писал, что первый консул отверг тотчас же статьи предложенного ему с русской стороны договора, в которых заключалось обязательство при общем замирении не допускать для вознаграждений никаких других оснований, кроме установленных Россией, Пруссией и Францией. Французский министр ино-

странных дел Талейран выразил положительно желание своего правительства войти прямо и просто в соглашение с русским императором относительно предметов, где интересы обоих правительств сойдутся. Талейран при этом внушал Колычеву, что необходимо составить общий план, чтобы воспрепятствовать дворам берлинскому и венскому воспользоваться настоящими обстоятельствами и приобрести в Германии больше того, на что действительно имеют право.

Эти настоящие обстоятельства заключались в том, что по Люневильскому миру, заключенному (9-го февраля 1801 года) Германской империей с Францией вследствие последнего погрома Австрии, левый берег Рейна отходил к Франции. Германия лишилась 1, 150 квадратных миль; но владельцы не хотели лишиться ничего; им выговорено было вознаграждение, которое они должны были получить посредством так называемой секуляризации, то есть отдачи светским князьям в потомственное владение церковных владений, епископств и аббатств; вольные города также должны были потерять свою вольность для вознаграждения владельцев, лишившихся своих земель на левом берегу Рейна. Казалось бы, что такое чисто германское дело надобно было устроить внутри Германии по соглашению одних ее владетелей. Но если бы это соглашение было возможно, то не было бы и Люневильского мира и уступки Франции левого берега Рейна. Крупные германские государства, Австрия и Пруссия, потеряли свое значение, и мелкие, не имевшие обо что опереться у себя, бросились, как слабые, ко внешней силе, начали преклоняться пред французским правительством, и дело вознаграждения перешло в руки Наполеона, который, желая пока иметь на своей стороне Россию, соглашался уступить известную долю участия в деле русскому императору, но с исключением всякой германской державы.

Почуяв, где сила, где решение дела, уполномоченные германских дворов бросились в Париж и не щадили ничего, ни денег, ни ласкательств, ни унижения, чтобы только сослужить верную службу своим высоким доверителям: это были патриоты и верноподданные своего рода. В Париже производилась торговля епископствами, аббатствами, вольными городами; немецкие посланники с деньгами в руках взапуски ползали перед любовницей Талейрана, перед его секретарем Матьё, перед французским посланником в Регенсбурге Лафорестом. Впечатление, производимое этим явлением на первого консула и создаваемое им французское сановничество, было ужасное, развращающее; оно внушало им полное презрение к слабым, надежду на одну силу, которой все позволено. И легко понять, как для избалованного раболепством главы Французской республики невыносим был представитель какого-нибудь государства, который с достоинством поддерживал это представительство, который не гнулся пред людьми, привыкшими кричать: «Горе побежденным!» – не гнулся потому, что непризнавал своего государства побежденным.

Колычев был неприятен первому консулу и его министрам именно потому, что вел себя с достоинством: с ним надобно было считаться, говорить иначе, чем с другими послами, что особенно видно из следующего. Весть о кончине императора Павла была для Наполеона громовым ударом; по обычаю, он искал, на ком бы сорвать сердце, и сорвал его в «Монитёре» на англичанах, но, кроме выходки в журнале, другого средства достать англичан не было; легче и приятнее было сорвать сердце на сардинском короле, за которого заступался покойный император Павел, требуя возвращения ему Пьемонта. Теперь, когда заступника уже более не было, Наполеон поспешил дать Пьемонту управление, одинаковое с управлением всех других французских департаментов, причем предписал: если Колычев станет на это жаловаться, то отвечать, что дело еще не решенное, что сардинский король вывел первого консула из терпения своим неуважением к нему; а если бы стал жаловаться прусский посланник Люккезини, то ему отвечать, что французское правительство не обязано рассуждать с прусским королем об итальянских делах.

Колычев действительно протестовал, и протестовал сильно против французских распоряжений в Италии, настаивая на исполнении обещаний, данных императору Павлу, и давая

знать *гражданину* Талейрану, что если эти обещания не будут исполнены, то восстановление дружбы между Россией и Францией не может быть долговременно. Гражданин Талейран жаловался на резкий тон Колычева, который скоро был отозван, но Наполеон и Талейран ничего не выиграли от этой перемены. Преемником Колычеву был назначен граф Морков как более искусный и способный на трудном посту посланника при Французской республике; притом же опальный сановник прошлого царствования возобновлял свою деятельность на блестящем посту внешнем, тогда как возобновление этой деятельности на каком-нибудь внутреннем не очень желалось. Морков отличался самыми изысканными придворными манерами XVIII века, утонченной вежливостью, входил и раскланивался по правилам танцевального искусства, ступал на цыпочках, говорил на ухо – и все остроты. Но этот утонченнейший маркиз превращался во льва, когда надобно было охранять интересы и честь России; он принадлежал к таким русским деятелям, о которых говорили, что они *екатеринствуют,* – к людям, привыкшим при Екатерине считать Россию первым государством в мире, решительницей судеб других народов.

11-го октября (н. ст.) 1801 года Морков заключил тайную конвенцию между Россией и Францией: обе державы обязались сообща, в полном согласии покончить дело о вознаграждении германских владельцев вследствие Люневильского мира, причем выражено было желание допускать как можно менее перемен в государственном устройстве Германии; сохранять справедливое равновесие между домами австрийским и бранденбургским; соблюдать искреннее согласие и сообщать друг другу свои намерения относительно устройства Италии и светских отношений римского двора для дружеского окончания всех этих дел. Первый консул обязывался при русском посредничестве открыть вскорости мирные переговоры с Оттоманской Портой; сохранить неприкосновенность владений короля Обеих Сицилий и, как скоро судьба Египта будет решена, вывести французские войска из Неаполитанского королевства. Обе державы обещали заняться дружески и доброжелательно интересами короля Сардинского сколько возможно по настоящему положению вещей; независимость республики семи Ионических островов была признана, и постановлено, чтобы в ней не оставалось более иностранных войск; русский император обещал стараться об освобождении французов, находившихся в турецком плену. Обе державы обязались немедленно заняться средствами утвердить на вышесказанных основаниях всеобщий мир, восстановить должное равновесие в различных частях света, обезопасить свободу морей и действовать согласно убеждениями и силой для блага человечества, общего спокойствия и независимости правительств.

Сила, военная удача дали Франции первенствующее положение в Западной Европе, но на востоке Европы было государство, с которым Франция должна была считаться, поделиться своим значением, сообща распорядиться европейскими делами, причем Россия прямо выставляет свое начало, свою цель: действовать для блага человечества, общего спокойствия и независимости государств. Нам теперь все это может показаться наивными фразами в конвенции, заключаемой с Наполеоном, но мы видели, что император Александр именно хотел испытать нового правителя Франции. Не обращая внимания ни на форму, ни на имя, ни на происхождение французского правительства, русский государь задавал вопрос: согласно ли будет это правительство содействовать видам России в установлении всеобщего спокойствия и прочных правильных отношений между государствами Европы: если будет согласно, то, как бы ни назывался правитель Франции, первым консулом или иначе, Россия будет с ним в тесном союзе; если же нет, то следствием будет постоянная вражда. Таким образом, конвенция естественно вытекала из основного взгляда императора Александра на внешние отношения России.

Сильно были недовольны конвенцией в Англии; сильно потому сердился на нее граф Семен Воронцов и не щадил насчет ее резких выражений, причем продолжал толковать о панинских внушениях, выгораживая Моркова как невольное орудие. Отчего же конвенция заслужила такую немилость на другом берегу пролива? Здесь, как и во Франции, вообще не были довольны поведением нового русского государя, несмотря на то что он миролюбиво, дру-

жественно отнесся ко всем. В Англии ждали, что в петербургском кабинете произойдет полная реакция последним направлениям политики предыдущего царствования, что новый император сейчас же порвет с Францией и тесно соединится с Англией. Сколько в Англии надеялись на такой переворот в политике России, столько же во Франции боялисьего; успокоились, когда увидали, что его нет, но все же не были довольны миром России с Англией, спокойным, беспристрастным тоном политики нового государя, ее самостоятельностью и независимостью, что все не давало надежды употребить Россию орудием для своих целей, заставляло считаться с нею. Как бы то ни было, положение, которое принял Александр, должно было повести к кратковременному успокоению Европы: Англия и Франция обе были утомлены войной; но скорый мир был бы невозможен, если бы Франция надеялась на русскую помощь, как было при Павле, или если бы по смерти Павла произошла та реакция, какой ожидали в Англии, которая оперлась бы на Россию для получения более выгодных мирных условий. Но спокойное и беспристрастное положение России предоставляло Англии и Франции переведываться одним друг с другом; они устали, нуждались хотя в кратковременной передышке; континентальные успехи одной были уравновешены морскими успехами другой. Россия, которая могла положить свою тяжесть на ту или другую чашку весов, отстранялась, и воюющие державы приступили к мирным переговорам; Питт, которого имя было неразлучно с представлением о борьбе на жизнь и на смерть между Англией и Францией, – Питт вышел из министерства; преемник его Аддингтон поставил своей задачей заключение и поддержание мира.

1-го октября 1801 года были подписаны в Лондоне прелиминарные статьи мира между Францией и Англией: последняя возвращала Французской республике и ее союзникам все колонии, захваченные у них англичанами во время войны, кроме испанского острова Тринидада в Америке и голландского Цейлона в Азии, которые оставались навсегда за Англией; Египет возвращался Турции, Мальта – ордену Св. Иоанна Иерусалимского; французские войска должны были очистить римские и неаполитанские владения, английские острова и гавани Средиземного и Адриатического морей; обеспечивалась целость Португалии.

Прелиминарные лондонские статьи и парижская франко-русская конвенция были заключены почти в одно время, вели к одной общей цели, никакого противоречия в себе не заключали, а между тем в Англии сильно были взволнованы и раздражены франко-русской конвенцией: в ней опять затрагивалось чувствительное место. Мы видели, каким раздражением было встречено в Англии русское предложение первому консулу посредничать при заключении мира между Францией и Турцией. Теперь Англия взялась быть посредницей, выговаривая возвращение Египта Турции, и вдруг узнает, что Россия не отказалась от своего посредничества и внесла его в Парижскую конвенцию. В Англии не умели при этом скрыть своего раздражения, не умели скрыть своего стремления отстранить русское влияние в Константинополе, и министр иностранных дел лорд Гоуксбюри объявил графу Воронцову, что король сильно огорчен невниманием императора Александра к его прежним просьбам отказаться от плана отдельного мира между Францией и Турцией, потому что Англия не заключит мира с Францией без включения в него Турции. Морков должен был знать о лондонских прелиминарных статьях и, несмотря на это, все же внес в свою конвенцию условие о посредничестве России между Францией и Турцией.

Англия хотела уничтожить влияние России на Востоке, но до столкновения этих двух держав здесь было еще далеко; Восточный вопрос не становился еще на очередь; отношения на Западе оттягивали все внимание, а здесь человек, управлявший Французской республикой, хотел отнять у Англии всякое влияние на дела континента. Когда после подписания лондонских прелиминарии открылись между Англией и Францией переговоры в Амьене, французский уполномоченный, брат первого консула Иосиф Бонапарт получил внушение, что французское правительство не хочет слышать при переговорах ни о короле Сардинском, ни о внутренних делах Батавии (Голландии), Германии, Швейцарии и республик итальянских; все

это совершенно чуждо переговорам между Францией и Англией, и при составлении прелиминарии было об этом говорено очень мало – достаточное доказательство, что теперь вовсе не нужно поднимать об этом вопроса. Кабинет Аддингтона хотел во что бы то ни стало заключить поскорее мир, в этом он поставлял свое значение, свою славу, возможность существования, предполагая сильное желание народа видеть конец войны. При сильном желании уладить что-нибудь обыкновенно смотрят сквозь пальцы на некоторые затруднения, спешат обойти их молчанием, предполагая, что с течением времени все уладится, хотя очень часто с течением времени эти затруднения являются неодолимыми и разрушают желанное дело.

Мир между Англией и Францией был заключен в Амьене 25-го марта 1802 года, и народ в Англии, действительно желавший передышки, встретил его с восторгом. Но когда первое впечатление прошло, когда наступили минуты спокойного обсуждения дела, положения, им созданного, то стало оказываться, что положение это вовсе не выгодно, что против стремления Франции к усилению нет никаких гарантий – континент отдан ей на жертву. Это обсуждение положения, созданного Амьенским миром, началось двумя обычными, открытыми путями: путем парламентских прений и путем печати. В парламенте поднялась оппозиция из приверженцев прежнего Питтова министерства, раздались слова: «Англия похожа на крепость, которая потеряла свои внешние укрепления, Амьенский договор представляет прелиминарии смертного приговора Англии». Министры могли отвечать одно: «Необходимость требовала заключить мир: мы оставлены союзниками, новая коалиция на континенте в эту минуту невозможна».

Печать со своей стороны указывала На невыгоды Амьенского мира, на ошибки, сделанные при его заключении. Английские министры привыкли спокойно относиться к выходкам печати против своих действий, но не привык к этому правитель Франции. Кроме условий, заключавшихся в характере Наполеона и не позволявших ему равнодушно сносить и свободного отзыва о его действиях – не только оскорбления, самое положение его заставляло его быть чрезвычайно чувствительным к публичным, печатным порицаниям. Добиваясь власти и ее утверждения, он был осужден на постоянную борьбу с препятствиями, с людьми, которые не желали его власти, ее утверждения; он не был законный государь, он был только вождь партии, которую надобно постоянно усиливать, делать господствующей. Средством для этого был успех очевидный, признанный; блеск, слава, заставляющие молчать противников; похвала, восторг могущественно действуют на толпу, на большинство, заставляют его преклоняться пред человеком, которому раздаются постоянные похвалы, имя которого произносится с восторгом. Но вот раздаются слова сомнения, порицания – и вождю партии кажется, что уже толпа смущается, делится, обаяние исчезает, кумир без фимиама уже не бог; ему кажется, что число поклонников его уже уменьшается, партия слабеет; поэтому понятно, в какое раздражение приводит его каждый враждебный голос; понятно, как он пользуется своей силой, чтобы заставить молчать своих противников, враждебные партии. На увещания установить свободу печати Наполеон отвечал: «Чего ожидать от этих людей, которые все еще сидят на своей метафизике 1780 года! Свобода печати! Стоит мне только ее восстановить, так сейчас же появится тридцать журналов роялистских, столько же журналов якобинских, и мне придется управлять с меньшинством!»

Во Франции слышится одна хвала человеку силы, вождю господствующей партии; он успокаивается, чувствует под собой твердую почву, цель утверждения власти кажется достигнутой; но смущают его враждебные речи, раздающиеся из стран чужих; хотя и не вдруг, и не без труда, но проникнут они во Францию и могут произвести то же действие, как если бы они раздавались прямо внутри страны. Раздражение и опасение усиливаются тем, что эти враждебные статьи и сочинения выходят не только из-под пера иностранцев, мнения которых встречают противодействие в патриотическом чувстве, но также из-под пера французов, роялистов, конституционистов, якобинцев, у которых есть соумышленники в самой Франции. Раздражение усиливалось еще тем, что уничтожить эти враждебные сочинения, наказать их авторов

было не во власти правителя Франции; враги кололи человека силы и смеялись над его бессильной яростью; обаяние силы уменьшалось. Но сила, развиваясь, отвыкает предполагать для себя препятствия неодолимые, и первый консул требует у английского правительства прекращения выходок английской печати, требует изгнания или наказания французов, нашедших убежище в Англии и пишущих против нового порядка вещей в своем отечестве. Ему отвечают, что по английской конституции печать пользуется полной свободой, что в Англии не потерпят вредных действий французских эмигрантов, но принимать против них меры предварительные несогласно с честью и законом гостеприимства. Наполеон возражал, что английское правительство может позволять печати порицание действий своего внутреннего управления, но есть высшие требования, требования международного права, пред которыми должны молчать законы отдельных государств; что можно терпеть у себя и против себя, того нельзя позволять в отношении к чужим правительствам. Эти новые положения международного права не могли быть признаны английским правительством, и Наполеон стал вести войну против английских газет в своей газете, в «Монитёре», где постоянно появлялись самые грубые выходки против основ английской политической жизни. Любопытны счеты, какие иногда в «Монитёре» сводились между двумя хищничествами, французским и английским; сравнивая французов с англичанами, «Монитёр» однажды воскликнул: «Какое различие между народом, который делает завоевания из любви к славе, и народом торгашей, который становится завоевателем!»

Понятно, что такая газетная война не могла успокоить раздражения; она напоминала обычай первобытных народов – перед началом битвы ругаться, особенно осыпать насмешками и бранью вождей. Обычай сохранился с тем различием, что у народов первобытных бранятся устно перед битвой, а у народов цивилизованных бранятся печатно, в газетах и отдельных сочинениях, в прозе, а иногда и в стихах; следствие же одно и то же – взаимное раздражение. Но кроме этого раздражения были и другие причины, не допускавшие продолжения мира. Наполеон не хотел признать за Англией никакого права вмешиваться в его распоряжения с соседними слабыми народами; на представления относительно этих распоряжений он отвечал с такой бесцеремонностью, от какой новые европейско-христианские народы давно уже отвыкли. Англия со своей стороны не могла удержаться от искушения удерживать за собой драгоценную Мальту, оправдывая такое нарушение договора его непрочностью вследствие поступков первого консула. Наполеон присоединил к Франции Пьемонт и остров Эльбу и распоряжался хозяином в Швейцарии; английское правительство заговорило по этому поводу о политическом равновесии, о Люневильском мире. Наполеон велел отвечать на это угрозами: «Без сомнения, Англия станет искать союзников в Европе; если она их найдет, то этим она только заставит нас завоевать Европу. Первому консулу только 33 года; он сокрушал только до сих пор государства второстепенные! Кто знает, сколько ему понадобится времени, чтобы изменить лицо Европы и восстановить Западную империю?»

Но в Англии думали, что если дать Наполеону свободу распоряжаться на континенте так, как он до сих пор распоряжался, то не будет безопасности и для владычицы морей. В парламенте раздавались слова: «Ждать ли, чтоб он овладел всем континентом, и тогда только начать против него действовать? Бонапарт заключил договор с французами: они согласны повиноваться ему под условием, что он доставит им владычество над вселенной». Раздражение и без того уже было сильно, когда Наполеон с целью пристращать Англию коснулся главного ее интереса: в начале 1803 года в «Монитёре» появилось донесение Себастиани, отправленного первым консулом на Восток; здесь говорилось о легкости вторичного завоевания Египта Францией; по утверждению Себастиани, для этого достаточно было 6000 французского войска. Нельзя было придумать лучшего средства задеть англичан за живое; раздражение их достигло высшей степени. Аддингтон должен был отказаться от своей системы поддерживать мир во что бы то ни стало. Наполеон слал одну угрозу за другой: он объявил в «Монитёре», что 500000 войска готово защищать республику и мстить за нее. Наполеон, как все люди его характера

и положения, считал только своим правом грозить, пугать и выходил из себя, если угрожаемый становился в боевое положение. Так, когда король Георг III повестил палате общин, что надобно принять меры предосторожности, Бонапарт в сильном волнении подошел к английскому посланнику лорду Уитворту и сказал ему громко: «Итак, вы решились объявить нам войну! Мы воевали десять лет; вы хотите воевать еще 15 лет, вы меня к этому принуждаете». Подле стояли два посла – русский Морков и испанский Азара; Наполеон обратился к ним: «Англичане хотят войны, но если они первые обнажат шпагу, то я последний вложу ее в ножны; они не уважают договоров, которые должно покрыть черным крепом». После этой выходки Наполеон обратился опять к Уитворту: «Зачем вооружение? Против кого меры предосторожности? У меня нет ни одного линейного корабля в моих гаванях! Вы хотите драться, и я буду драться! Вы можете убить Францию, но не испугать!» «Мы бы не хотели ни того, ни другого, хотели бы жить в добром согласии с Францией», – сказал посланник. «Так надобно уважать договоры, – закричал Наполеон. – Горе неуважающим договоры!» Наполеон этими словами намекал на то, что Англия не очищала Мальты, но упрек другим в неуважении договоров звучал очень дико в устах Наполеона. В ответ на выходку первого консула Англия потребовала в виде гарантии Мальту на десять лет и в то же время потребовала, чтобы Франция вывела войска свои из Батавской республики (Голландии), из Швейцарии и дала вознаграждение королю Сардинскому. Подобные требования могли быть сделаны только для того, чтобы выйти из тяжелого нерешительного положения; цель была достигнута: война между Англией и Францией началась снова; французы заняли Ганновер, принадлежавший английскому королю.

А между тем Наполеон не хотел войны с Англией: кроме убытков, верных морских поражений, потери флота, эта война не могла ему ничего обещать; руки были коротки, достать ненавистный остров, несмотря на всю его близость, было нельзя; угроза высадки, несмотря на все приготовления, оставалась только угрозой; занятие Ганновера, принадлежавшего английскому королю, нисколько не трогало англичан. Но и мир с Англией был невозможен, потому что Англия не хотела смотреть равнодушно, как Наполеон распоряжался на континенте. Точно в таком же положении находился Наполеон и к России: он не хотел войны с ней, а война была неизбежна, потому что Россия не давала ему распоряжаться в Европе, порабощать слабейшие государства; с Россией заключены были обязательства – с тем, разумеется, чтобы их не исполнять, но Россия от них не отступалась; надобно было как-нибудь ее занять на время, заставить выпустить из виду общие интересы для частного, соблазнить, указав на какой-нибудь лакомый кусочек.

В 1802 году, когда готовился разрыв Амьенского мира, Морков доносил своему двору, что Бонапарт постоянно заводил разговор о близком распадении Оттоманской империи. Это произвело тревогу в Петербурге. Все внимание сосредоточено было на Западе; Турция, не успевшая еще опомниться после египетского похода Наполеонова, когда страшная опасность стала грозить ей со стороны, откуда она вовсе ее не ожидала, Турция не подавала никакого повода к неудовольствию, и в Петербурге брало верх мнение, что слабая Турция есть самый удобный сосед и трогать ее не следует. Об этом твердил граф Семен Романович Воронцов; следовательно, таково же было убеждение и брата его графа Александра, теперь канцлера, причем Воронцовым было приятно указывать, что политика Екатерины II относительно Турции была ошибочна; здесь они действовали в духе партии, ибо не могли не знать, что обе турецкие войны при Екатерине II были начаты совершенно против воли русского правительства. Взгляд Воронцовых вполне разделял молодой, близкий к императору Александру граф Виктор Павлович Кочубей, бывший посланником в Константинополе и потом короткое время помогавший канцлеру Воронцову в заведовании иностранными делами до Чарторыйского.

Кочубею как знакомому с положением Турции принадлежал теперь первый голос; когда надобно было подумать о восточных делах вследствие донесения Моркова, Кочубей объявил, что при поднятии Восточного вопроса России предстоит выбор: «или приступить к поделу Тур-

ции с Францией и Австрией, или стараться отвратить столь вредное положение вещей. Сомнения нет, чтобы последнее не было предпочтительнее, ибо независимо, что Россия в пространстве своем не имеет уже нужды в расширении, нет соседей покойнее турков, и сохранение сих естественных неприятелей наших должно действительно вперед быть коренным правилом нашей политики». Кочубей советовал снестись по этому делу с Англией и предостеречь Турцию. Мнение было принято, и 24 декабря 1802 года канцлер Воронцов отправил Моркову письмо, в котором уполномочивал его каждый раз отвечать Бонапарту ясно, что император Александр никак не намерен принять участие ни в каком проекте, враждебном Турции.

Удочка закидывалась понапрасну; Россия не пошла на эту приманку. Попробовали другое средство: в доказательство своего уважения к императору Александру Наполеон предложил ему быть не только посредником, но верховным решителем спора между Англией и Францией. Александр отклонил эту опасную честь: война уже началась; согласится ли Англия для ее окончания подчиниться решениям русского государя; если не согласится, то это будет оскорбление и Франция получит право требовать союза России против державы оскорбившей. Но если бы даже Англия и согласилась, то разве легко было беспристрастным решением удовлетворить обе державы? Александр принял более скромную роль посредника и предложил условия: Франции очистить Ганновер, Голландию, Швейцарию, Верхнюю и Нижнюю Италию; Пьемонт останется за ней, но сардинский король получит за него вознаграждение. Александрпредлагал занять русскими войсками остров Мальту, с тем чтобы срок этого занятия был определен впоследствии.

Наполеон отвечал, что он может заключить мир с Англией только на амьенских условиях. Без сомнения, он очистит, когда придет время, Голландию, Италию и Швейцарию, но это никак не может войти в условия мира с Англией. Наполеон требовал перемирия и конгресса для решения всех споров. Но условия, предложенные Александром, были так же необходимы и для России, как для Англии. Прежде всего по отношению к Балканскому полуострову нельзя было допустить владычества французов в Италии. Граф Семен Воронцов, руководясь интересом минуты, даже советовал английскому министерству удержать Мальту в видах недопущения французов в турецкие владения; совет был неблаговиден; графу Семену послали из Петербурга на этот счет внушение и придумали средство прекратить спор и обезопасить свои интересы – занятием Мальты русскими войсками; но ответ Наполеона, что он очистит Италию, Швейцарию, Голландию, когда придет время, показывал всю его неискренность.

Россия по своему положению непосредственно войны начать не могла; она могла стать только во главе коалиции, поддерживать другие ближайшие к Франции державы; Англия могла поддерживать коалицию деньгами, но без России не могла ничего сделать на континенте, и потому как скоро Россия и Англия видели, что Наполеон не может остановиться на пути захвата, то необходимо сближались для образования и поддержки коалиции. Отсюда перед разрывом Англии с Францией, когда старания России поддержать Амьенский мир оставались тщетными, сближение России с Англией становилось теснее, и русский посол во Франции, естественно, должен был сближаться с послом английским; и после разрыва мира в 1803 году, по удалении лорда Уитворта из Парижа граф Морков должен был вести себя по-прежнему, ибо со стороны французского правительства не видно было ни малейшей склонности удовлетворить русским требованиям. Поведение Моркова, самостоятельное и твердое, сильно раздражало Наполеона; не мог он выносить присутствия человека, в глазах которого читал: «Я за тобой слежу и очень хорошо тебя понимаю, ты меня не обманешь!» Хотя Наполеон не мог не понимать, что охлаждение между Россией и Францией и даже разрыв между ними неизбежен по самому ходу дел, но все же перемена посла представляла некоторую возможность отдалить развязку: быть может, пришлют кого-нибудь менее проницательного, искусного и твердого, чем Морков.

В августе 1803 года Талейран поручил французскому посланнику в Петербурге Гёдувилю потребовать от русского правительства именем первого консула отозвания Моркова из Франции! Причины приводились следующие, причем не пощажено было ничего, чтобы очернить русского посла в глазах его государя. «Пока мир продолжался (между Францией и Англией), – писал Талейран, – Моркова терпели в Париже, хотя он вел себя как истый англичанин, потому что это не было опасно; но теперь, когда началась война, которой нельзя предвидеть конца, присутствие человека, столь недоброжелательного к Франции, более чем неприятно для первого консула, 18-ть месяцев г. Морковзаставлял известного Фуилью распространять бюллетени, заключавшие в себе оскорбления и клеветы. Первый консул не хотел придавать важности такому поведению, потому что г. Морков недавно приехал, мог еще не испробовать почвы, где находился. Но и после восьмнадцатимесячного пребывания поведение его не стало более дружественным и более скромным. Он болтает во всех углах Парижа, и болтает так, что первый консул не может более выносить этой болтовни. Должно сказать, что он не щадит и поступков собственного правительства, не щадит даже особы его величества. Чего не наговорил он об указе относительно народного просвещения, о поощрениях его величества крестьянскому освобождению! Он беспрестанно повторяет фразу: «У императора своя воля, а у русского народа другая». При настоящих обстоятельствах г. Морков ежедневно предсказывает, что пламя войны обхватит весь континент, и нельзя с ним иметь никакого разговора: он все перетолкует в дурную сторону. Сам лорд Уитворт был поражен яростью, с какой Морков побуждал к войне; изумление его было так сильно, что он сказал гражданину Иосифу Бонапарту, с которым он был в дружбе, что г. Морков играет ненавистную роль».

Бонапарт не расстался с Морковым мирно. Он возненавидел его еще более потому, что оскорбил и не мог удержаться от нападения на ненавистного человека, притом очень нравилось молодому генералу власти новой унижать представителей древних властей; распекать по-военному послов иностранных входило в привычку. В сентябре 1803 года, во время одной из публичных аудиенций, Бонапарт подошел к Моркову с искаженным от злобы лицом, дрожащими губами и стал ему говорить задыхающимся, но громким голосом: «Зачем император покровительствует Дантрегу, французскому уроженцу, который живет в Дрездене и пишет там пасквили против французского правительства? Если бы я позволял себе такое же поведение относительно русского подданного, поселившегося во Франции, то, конечно, император не был бы доволен». «Дантрег, – отвечал Морков, – давно уже числится в русской службе, и могу уверить, что император ничего не знал о пасквилях его против французского правительства, а если бы узнал, то немедленно заставил бы его прекратить такую деятельность; я также ничего не знал об этом: в первый раз слышу».

Отбитый словами, смысл которых состоял в том, что о таких ничтожных делах, как дело Дантрега, правительства прежде упреков и жалоб из уст главы государства дают знать друг другу чрез министров, если только находят нужным давать знать, Наполеон бросился в другую сторону, но к такому же, собственно, полицейскому делу, срывая свое сердце в ругательствах против Кристэна. Этот Кристэн был родом швейцарец, находился также в русской службе и получал от русского двора пенсию. Теперь вдруг французское правительство его схватило и посадило в крепость. Морков протестовал, и за этот-то протест Бонапарт счел нужным теперь дать на него окрик: «Я велел схватить и отвести в крепость Кристэна, потому что он француз и был секретарем принцев (Бурбонских), да и всегда вел себя гадко». «Кристэн, – отвечал Морков, – вовсе не француз, а швейцарец, и я имел достаточное право оказать ему покровительство в случае его невинности». Слыша и тут твердую отповедь. Наполеон оставил Моркова, но, уходя, сказал громко: «Мы не такие бабы, чтоб терпеливо сносить подобные поступки со стороны России, и я буду арестовывать всех, которые станут действовать против интересов Франции».

На другой день Морков поехал к Талейрану и дал ему записку, в которой излагалась вчерашняя сцена. Талейран обратил все это в шутку и стал упрашивать Моркова взять записку назад и не давать делу хода. «Вы, – говорил он, – должны смотреть на эти вещи спокойнее, чем другие, потому что вы больше других получаете предпочтение и уважение, которые вам здесь расточают при всяком случае». Морков, смотря ему пристально в лицо, отвечал: «Эти знаки уважения секрет для меня и для других, тогда как оскорбление было мне нанесено публично, и я вас прошу представить мою записку первому консулу, чтоб впредь мне было обеспечение от подобных выходок». Талейран начал толковать о том уважении, какое Бонапарт всегда оказывает к желаниям императора Александра. «Где это уважение? – отвечал Морков. – Император просит вас уважать нейтралитет государств, ему союзных и таких, которых торговые интересы связаны с интересами его подданных, а вы продолжаете наводнять их войсками. Император, по человеколюбию и с вашего согласия, образовал маленькое государство на Ионических островах, а ваш поверенный в Корфу сеет там раздор и анархию, и сам первый консул позволил себе такой неслыханный поступок, назначив на своем жалованьи коммерческого агента для этой маленькой республики. Я вам подаю рекламации и не получаю никакого ответа». Талейран: «Охотно будем уважать нейтралитет на суше, только заставьте Англию уважать его на море; а на Ионических островах ваше влияние сильнее французского».

В тот же день Талейран прислал свою жену завтракать с дочерью Моркова, ребенком пяти с половиной лет. Другая дама рассказала русскому послу, что первый консул жалеет о своей живости и что об этом слышала она от самой Жозефины Бонапарт. Для уяснения себе, в каком положении находятся дела, Морков обратился к брату первого консула Луциану, зная, что он хорош с Талейраном. Луциан отвечал, что они с братом Иосифом часто говорили о нем, Моркове, брату Наполеону и тот жаловался на некоторую гордость или резкость характера Моркова, которая его оскорбляет, тем более что все остальные послы преклонялись пред ним. Луциан прибавил, что они с братом Иосифом часто горевали, видя уступчивость императора Александра относительно первого консула. Если бы Наполеон встретил препятствия со стороны русского государя, то, несмотря на бурность своего характера, дух правоты, которым он в то же время обладает (?), остановил бы его относительно многих вещей; но теперь, уверившись, что нечего бояться со стороны далекой России, и низложивши или обольстивши все окружающее, он считает для себя все позволительным и не перестает затевать предприятия, которые рано или поздно могут привести его и родных его к погибели.

Скоро после этого Морков был отозван. Александр дал знать первому консулу, что не усматривает виновности Моркова, ибо все, что донесено на него, противно точной истине (exacte verite), но отзывает его вследствие собственной его повторенной просьбы, ибо нельзя оставлять его в таком неприятном положении (17 октября 1803 года). В рескрипте Моркову говорилось, что государь с сожалением лишается его службы на этом посту, что обвинения, на него взведенные, суть клеветы. Преемник Моркову назначен не был; во Франции остался русский поверенный в делах Убри. Испытание, означенное в политической программе Александра, кончилось: Наполеон оказался неспособным уважать независимость держав и содействовать установлению европейского равновесия; сношения с ним не повели к удовлетворительному результату. Для его достижения надобно было обратиться к другому средству – к составлению коалиции; Англия была уже в войне с Францией; надобно было склонить к общему действию Австрию и Пруссию.

Австрия после двух бонапартовских погромов имела нужду в отдыхе и должна была желать, чтобы отдых этот был как можно продолжительнее; но все же борьба с Францией представлялась ей как необходимость, и все усилия направлялись к тому, чтобы встретить эту необходимость при возможно благоприятных условиях, с лучшим приготовлением. Она чувствовала себя в осадном положении от Франции, которая стояла у ее ворот – и в Германии, и в Италии, преимущественно в последней стране, где в действительности границы французские

сходились с австрийскими; и окончательный шаг к слитию Италии с Францией должен был принудить Австрию к отчаянному усилию для воспрепятствования этому шагу. Тяжелый опыт, несчастное окончание двух кампаний убеждали, что Австрия не может вести борьбу с Наполеоном один на один, что на соединение с Пруссией надеяться нечего, что помощи можно ожидать от одной России и гибель стала грозить Австрии, когда при императоре Павле Россия отвернулась от нее, входя в соглашение с Францией и Пруссией.

Чем сильнее было в Вене чувство страшной опасности, тем отраднее была весть о вступлении на престол Александра, объявившего, что будет идти по стопам Екатерины. Не дожидаясь извещения о восшествии на престол нового русского государя, император Франц отправил Александру письмо с выражением сильнейшего желания восстановить между Россией и Австрией старый союз, от чего зависит судьба Европы. Но после этого общего заявления в Вене спешили оговориться, точнее определить отношения, чтобы письмо императора Франца не показалось в Петербурге предложением коалиции, и австрийский министр иностранных дел граф Коллоредо сообщил князю Куракину такой мемуар (27 мая 1801 года): «Император-король, спеша открыть свои самые сокровенные мысли последователю Екатерины II, начинает признанием полного различия в мерах, требуемого совершенным различием между политическими обстоятельствами, в каких оставила Европу эта великая государыня, и теми, какие существуют теперь. Не к составлению враждебной коалиции против Французской республики клонятся желания Австрии. Она чувствует необходимость мира: это первая потребность Европы и особенно первая потребность австрийских владений, ослабленных, истощенных относительно людей и финансовых средств. К поддержанию мира, его возможности, его твердости устремлены все заботы и желания Австрии. Главное средство удержать французское правительство в границах – это восстановление согласия между важнейшими государствами; но дело вознаграждения германских дворов, выговоренного в Люневильском договоре, препятствует этому согласию. Французы и друзья их стараются воспользоваться этим обстоятельством, чтоб удалить друг от друга императорские дворы, поселя в русском правительстве подозрения насчет намерений Австрии».

В Вене действительно думали, что французы и друзья их (то есть Пруссия) стараются удалить Россию от сближения с Австрией, но основания политики молодого русского императора были так тверды, что никакие пересоривания не могли достигать цели: решено было испытать, способно ли французское правительство к миру, и если не способно, то действовать посредством коалиции, но сильная неуверенность в успехе испытания и необходимость иметь в виду коалицию заставляли самым дружественным образом относиться к Австрии. Ее посланник князь Шварценберг был принят чрезвычайно радушно императором и министрами. Князь Куракин говорил ему о сильнейшем желании императора Александра восстановить дружественные отношения между обоими государствами; Панин говорил, что до сих пор шли по ложной дороге, и эти слова имели для Шварценберга особенный вес именно в устах Панина; другие влиятельнейшие лица также выражали склонность к союзу с Австрией. Вопрос для русского кабинета заключался в том, в какой степени этот союз может быть полезен при тех условиях, в каких находился австрийский двор. В знаменитой инструкции русским министрам при иностранных дворах об австрийских отношениях император Александр говорил: «Так как я убежден, что союз великих держав один в состоянии восстановить мир и общественный порядок, то одним из первых моих дел было заявление венскому двору искреннего желания предать забвению все прошлое. Такое же стремление, основанное на тех же самых побуждениях, заставило римского императора идти навстречу моим желаниям. Не ожидая извещения о моем восшествии на престол, этот государь в собственноручном письме выразил мне самое сильное желание восстановить дружеские отношения. Австрия, поставленная между Францией, к которой питает боязнь и ненависть, между Пруссией, которой не верит, и остальной Германией, которую отчудила от себя своими корыстными замыслами, чувствует необходимость сблизиться

с Россией. Этот принцип сближения, превосходный в теории, может оказаться ничтожным в практике, как скоро будет дурно приложен, а этого надобно опасаться, пока благонамеренность государя и ревность подданных, наиболее преданных доброму делу, будут встречать препятствия в придворных и министерских интригах, в взаимной ненависти и страстях влиятельных лиц. Эти лица суть: императрица, Тугут и эрцгерцог Карл. Около них составлены партии, раздирающие государство. Экс-министр (Тугут, которому приписывались все действия, поведшие к разрыву австро-русской коалиции при императоре Павле) хотя находится в отсутствии, но приводит в движение Коллоредо, а через него имеет влияние на все рассуждения кабинета».

В Петербурге получались донесения из Вены, что императрица Мария-Тереза совершенно владеет императором, не показывает его в публику, не отходит от него и ненавидима народом, который жалеет Франца, предполагая в нем большую доброту. Тугут живет в Пресбурге, но с ним беспрестанно пересылаются курьерами, совещаются; он сохранил свое влияние над императором или, лучше сказать, над императрицей. Народ приписывает Тугуту все бедствия империи. Императрица и Тугут действуют интригами, но у эрцгерцога Карла есть партия, которая его обожает по мере ненависти к его личным врагам – императрице и Тугуту. Писать к императору Александру понудил Франца граф Траутмансдорф, человек благонамеренный.

Сближение с одной Австрией было недостаточно, особенно в видах коалиции; Александру I предстоял тот же страшный труд, который был употреблен понапрасну его бабкой и отцом, – труд склонить Пруссию к общему действию, и тут прежде всего нужно было мирить непримиримые интересы Австрии и Пруссии. По-прежнему эти державы забывали общую опасность, общий интерес, когда поднимался вопрос о добыче, вознаграждении; обе державы, позабывая все, имели в виду только одно: чтобы какая-нибудь из них не получила больше. В конце XVIII века они перессорились, потеряли возможность общего действия из-за польской добычи; теперь, в начале XIX века, они косились из-за вознаграждения, которое германские владельцы должны были получить за левый берег Рейна, отошедший к Франции по Люневильскому миру; Австрия втягивалась в это дело потому, что должна была получить вознаграждение для одного из своих принцев, потерявшего Тоскану, и, главное, хлопотала, чтобы Пруссия не получила много. В Вене с ужасом видели, что Россия склонна удовлетворить прусским требованиям, хотя в Петербурге и подсмеивались над аптекарским счетом, составленным в Берлине.

Стало праздным место архиепископа Кельнского: Австрия хотела, чтобы выборы последовали немедленно, имея в виду избрание одного из своих принцев; Пруссия требовала, чтобы выборы были отложены до решения вопроса о вознаграждениях;

Россия разделяла мнение Пруссии как соответствующее обстоятельствам. Австрия твердила, что готова согласиться на все в пользу Баварии, Вюртемберга и Бадена, лишь бы только Пруссия не получила ничего лишнего. «Неужели, – говорили в Вене, – в Петербурге так ослеплены, что не видят опасности, какая грозит России от Пруссии? Ни Порта, ни Швеция не могут быть для России такими страшными врагами, как Пруссия». В Петербурге австрийский посланник граф Заурау сказал графу Кочубею: «Россия будет раскаиваться, что содействовала увеличению Пруссии, не обращая никакого внимания на Австрию».

В России действительно не обращали внимания, только не на Австрию, а на ее внушения против Пруссии; здесь были убеждены, что опасность для России и Европы грозит из Франции и для предотвращения этой опасности державам надобно стоять в тесном союзе с оружием в руках и что этот союз будет не полон, если в него не будет входить Пруссия. Склонить ее к этому было чрезвычайно трудно; это значило в государстве самодержавном, что трудно было склонить короля Фридриха-Вильгельма III. Действительно, находили причины прусского бездействия в характере короля, в отсутствии энергии, военных способностей, откуда проистекала робость перед решительным шагом, перед вступлением в борьбу с таким врагом, как Наполеон. Нельзя отрицать в натуре Фридриха-Вильгельма III значительной доли мягкости,

которая делала для него трудным решительный шаг; нужно было истории употребить сильные средства, нужны былитяжелые удары судьбы, чтобы заставить его решиться на энергические меры или по крайней мере сочувственно смотреть на их проведение.

Но с другой стороны, нельзя отрицать, что робость, нерешительность Фридриха-Вильгельма происходили также от сознания положения и средств своего государства. Пруссия жила славой, наследованной от Фридриха II, но при внимательном взгляде можно было усмотреть, что средства внутренние и условия внешние далеко не соответствовали тому значению, какое придавалось ей и какое, разумеется, ей очень хотелось поддержать. Пруссия была обязана своим значением преимущественно личности Великого Фридриха, но, несмотря на все усилия этого государя, Пруссия по его смерти не была великой державой, которая бы представляла вполне независимую силу, особенно когда поднялась Франция при Наполеоне. Пруссия явилась слабой среди сильных: по одну сторону Франция была сильнее ее, по другую Россия была сильнее ее, да и враждебная Австрия превосходила ее внутренними средствами, возможностью вести борьбу и скорее оправляться после поражения. Оказывалось ясно, что Европе предстоит долгая и тяжкая борьба вследствие завоевательных стремлений Франции, главное противодействие которым будет оказываться со стороны России; борьба, следовательно, будет идти между этими главными, столповыми государствами Европы; государства слабейшие, находящиеся посередине, должны по своим интересам и обстоятельствам примыкать к той или другой. Наступательное движение идет явно со стороны Франции, которая не останавливается в своих захватах; политика России охранительная; она представляет защиту, опору коалиции против Франции. Казалось бы поэтому, что самым простым, естественным делом было примкнуть к России, но для прусского короля и его приближенных людей существовали причины, производившие раздумье.

Пруссия не была в таких непосредственных столкновениях с Францией, как Австрия по отношению к Италии. Главной соперницей Пруссии считалась Австрия; на союз с ней в Пруссии смотрели как на противоестественный. Попытка к нему оказалась неудачной в конце прошлого века, Пруссия разорвала противный ей союз, заключила отдельный мир с Францией, и мир не прерывался – это уже было предание. Россия предлагает защиту, опору – все это прекрасно, и в случае нужды надобно иметь в виду эту защиту и опору, но не надобно спешить. Союз с Россией как с государством сильнейшим имел невыгоды: тут нет равенства, а во всяком случае некоторое подчинение; благоразумно ли содействовать усилению России, и без того уже опасной соседки? Даже и в том случае, если бы она не увлеклась своей силой, властолюбием, Россия действует по своим принципам, имеет в виду поддержание европейского равновесия, и т. п. Ей хорошо, ей нечего расширять своих владений, она и без того велика и сильна, а Пруссии еще нужно расти, нужно еще много расширяться и округляться, чтобы сравняться с Россией и Францией; восторжествует Россия с помощью Пруссии, начнет делить своих союзников посвоему и ненавистной Австрии даст столько же, сколько Пруссии, – для сохранения равновесия! Такой русский дележ Пруссия уже испытала при Екатерине II; нет надобности дожидаться подобного и при внуке, который обещает идти по следам бабки. Но восторжествует ли Россия в борьбе? Ее войска составили себе славу победами над поляками и турками; Суворов бил и французов, да без Бонапарта; теперь у французов Бонапарт; у русских Суворова нет. В случае торжества Франции Россия останется нетронутой, а поплатится Пруссия.

При таких соображениях, из которых истекало печальное убеждение, что слабое государство находится между двумя борющимися друг с другом сильными, находится между двух огней, – при таких соображениях, разумеется, с непреодолимой силой должны были ухватиться за возможность выхода без обжога, с выгодой, но по крайней мере без потерь и с сохранением чести: эту возможность представлял нейтралитет. Россия с Францией непосредственно бороться не может – может бороться только через Австрию и Пруссию; интерес последней состоит в том, чтобы не допустить борьбы, служить посредницей между Россией и Францией –

положение почетное! Станут вести войну через Австрию – разнимать, понуждать к миру, в случае нужды и угрозой пристать к той или другой стороне, более податливой на мир или более правой. Важное, почетное значение сохранено, а между тем, пользуясь обстоятельствами, тем, что с разных сторон заискивают, можно приобресть и выгоды, увеличить свою территорию, округлиться, и сделать это без пожертвований. Образ действий Фридриха II по обстоятельствам был невозможен; надобно было возобновить политику его предшественников – Фридриха I, Фридриха-Вильгельма I, ловко держаться между воюющими сторонами и при первом удобном случае схватить что-нибудь; да и сам Фридрих II разве не посредничеством между Россией и Австрией приобрел земли по первому разделу Польши даром, без всяких пожертвований. Уже давно Германия делится на две половины – Северную, протестантскую, и Южную, католическую; в последней Австрия и Франция давно уже борются за влияние; если Франция осилит здесь Австрию – не беда, лишь бы Северная Германия осталась нетронутой под защитой Пруссии, которая здесь должна искать себе средств к усилению. И вот Пруссия при затруднительных обстоятельствахв начале XIX века крепко держится системы нейтралитета; в ней видит спасение сам король; по собственному убеждению, или по выгодебыть одного убеждения с королем, или по тому и другому вместе системы нейтралитета держатся люди, близкие к королю, генерал-адъютанты, члены кабинета.

Но против системы нейтралитета слышались веские возражения. Сильные не любят нейтралитета слабых; эта претензия на независимость и самостоятельность раздражает их иногда даже более, чем явная вражда, ибо все явное менее беспокоит, чем неопределенное, тайное; притом желание сохранять нейтралитет обыкновенно предполагает робость, слабость; сильные не уважают слабых и при нужном случае не позадумаются нарушить нейтралитет. При нейтралитете небольшая надежда на приобретение какой-нибудь выгоды; хорошо платят за союз, за действительную помощь; за нейтралитет ничего не дают или дают дешево, и посредничество державы, заподозренной в робости или слабости, не имеет важного значения; угрозы ее не производят большого действия. Пруссия слаба, разбросанна; ей нужно окрепнуть, усилиться, чтобы получить важное значение; для этого робкая политика нейтралитета не годится; надобно прямо вступать в союз с той стороной, которая предлагает большие выгоды. Но это мнение не могло осилить противоположного взгляда у короля и большинства его советников, потому что предлагались меры решительные, энергические, которых боялись, в успех которых мало верили, не видели обеспечения на востоке, со стороны России, при союзе с Францией и не видели обеспечения на западе, со стороны Франции, при союзе с Россией. Обеспечение могло заключаться в сознании своей силы, а этого сознания не было; на востоке видели количество, на западе – количество и качество, у себя не видали ни того, ни другого. Очень хорошо знали, что провозглашение системы нейтралитета и готовность поддержать его при случае вооруженной рукой, принятие на себя посреднической роли для сохранения спокойствия Европы – все это было только выставка, за которой притаились слабость и робость; видели, что должны сквозь пальцы смотреть на действия правителя Франции, чтобы не вызвать его на борьбу, и в то же время нежничать с Россией, чтобы на всякий случай иметь в ней прибежище; видели неловкость, недостоинство таких отношений и тем более сердились на людей, которые возражали против них и этим прямо обвиняли в робости.

Поведение подобных людей раздражало и оскорбляло короля, потому что они, вооружаясь против его системы, не брали на себя ответственности в случае затруднений и бед, легко могших произойти от системы противоположной; вся ответственность падала на короля. Эти люди красовались перед публикой своим патриотизмом, своим стремлением поддержать честь и пользу отечества, но они красовались на счет короля, приобретали популярность на счет его популярности. Тем благосклоннее король относился к людям, которые входили в его виды, признавали их необходимость, не выставляли в противоположность королевской системе своей системы, могшей привлекать большее сочувствие публики, но служили королю верную службу,

жертвуя ему своей популярностью, принимая на себя негодование публики, приписывающей неприятный для нее образ действий не королю, а близким к нему людям.

Затруднения начались с возобновлением войны между Францией и Англией. Английскому королю на твердой земле принадлежал Ганновер, который и становился первой добычей Наполеона. Но Ганновер составлял часть Германской империи;Пруссия не должна была равнодушно смотреть на его занятие французами, и в Берлине рождался вопрос: нельзя ли воспользоваться обстоятельствами и приобрести Ганновер, сперва занять его, хотя временно, под благовидным предлогом сохранения его для Германии от чуждого завоевания, а потом без войны, посредством переговоров и сделок закрепить и навсегда за собой? Дело трудное, но возможное; в XVIII веке Пруссия приобретала же владения таким образом; отчего же нельзя этого сделать в XIX? Английский король, курфюрст Ганноверский, разумеется, не скоро на это согласится, но английский народ равнодушен к германским владениям своего короля. Россия, которая так старается привлечь Пруссию на свою сторону и не имеет причины не желать ее усиления ввиду общего действия с нею, не должна отказаться употребить все свое влияние в Лондоне, чтобы заставить здесь войти в виды Пруссии; Наполеона также можно склонить обещанием союза или некоторыми уступками его видам.

Так, при войне с Англией для Наполеона было важно, чтобы Англия, пользуясь своим господством на морях, не уничтожила французской торговли недопущением к ней нейтральных кораблей; если бы Пруссии удалось склонить Англию признать основания вооруженного нейтралитета, то Наполеон за это мог бы позволить Пруссии занять Ганновер. Лондонскому кабинету было сделано предложение относительно нейтралитета с обещанием за это охранять и защищать Ганновер от французов. Но Англия с обычной своей бесцеремонностью в тоне отвергла прусское предложение, ибо не могла отказаться для Ганновера от средства наносить врагу самый чувствительный удар, да и король Георг III предпочитал занятие Ганновера французами занятию пруссаками, потому что первое было временное, тогда как второе легко могло обратиться в вечное. В Петербурге также поняли настоящие намерения Пруссии, их неблаговидность и вред от них для общего дела: Австрия была бы раздражена, и Пруссия могла занять Ганновер только с большими уступками Наполеону, что вовсе не могло входить в планы России. Когда король Фридрих-Вильгельм обратился к императору Александру за советом, тот прямо высказал ему свой взгляд на дело: «заботясь о сохранении славы короля», Александр не советовал ему занимать Ганновер. Ганновер был занят французами.

Таким образом, возможность приобретения соблазнительной добычи стала зависеть преимущественно от Франции, и поднимался вопрос о союзе с Наполеоном. Но какие бы ни представлялись выгоды этого союза королю и его министрам, заведовавшим попеременно иностранными делами, графу Гаугвицу и барону Тарденбергу трудно было заглушить в себе сознание непрочности французского союза. Они ясно видели, что Наполеон не позволит Пруссии употребить Францию орудием для своих целей, а, наоборот, союз с ним будет для Пруссии равносилен подчинению. Невозможно было освободиться от мысли, что рано или поздно столкновение с ним необходимо; притом же союз с Францией вел к разрыву с Россией, чего никак не хотели как вследствие прямых невыгод и опасностей разрыва, так и вследствие сознания надобности в России, единственно верной опоре против наполеоновских захватов, наконец, вследствие влияния, приобретенного императором Александром над королем во время свидания их в Мемеле в июне 1802 года. Такое колебание, выжидание, одинакий страх перед разрывом и с Францией, и с Россией не могли внушить ни той, ни другой большого уважения к Пруссии. Русский посланник в Берлине Алопеус писал канцлеру Воронцову 4 (16) ноября 1803 года о несчастном состоянии Северной Германии «вследствие глубокой апатии прусского короля; о следствиях для России господства, к которому стремится Франция посредством своей коварной политики. Немецкая империя существует только по имени. Австрия, ослабленная последними войнами, вовсе не видит кормила своего правления в руках, способных извлечь выгоды

из больших средств, которые еще у нее остались, несмотря на все потери. Пруссия почти не считается в политическом равновесии Европы. Это машина, в движениях которой можно еще видеть, что она вышла из рук Фридриха 11-го, но часть колес этой машины уже сломана».

Под влиянием подобных известий в Петербурге не могли очень любезно относиться к Пруссии. Россия предлагала ей выслать вместе войска к Эльбе, потребовать от Франции, чтобы она очистила Ганновер, и, когда это очищение последует, занять его союзными русско-прусскими войсками, но король никак на это не согласился, предполагая, что Россия затягивает его в войну со страшным Наполеоном. Фридрих-Вильгельм объявил: пока ни один прусский подданный не будет убит на прусской почве, до тех пор он не примет участия ни в какой распре. Но, боясь оскорбить императора Александра отказом, он написал ему в начале 1804 года: «Ваше величество не раз уверяли меня, что при нужде я всегда найду вас готовым на помощь. Теперь я обращаюсь к вам за советом, сильно желая, чтоб мне не пришлось когда-нибудь обратиться к вам за чем-нибудь другим. Выгнать французов из Ганновера было бы предприятием, могущим повести еще к большему несчастию. Но если Бонапарт, обманутый в надежде приковать к себе безусловно прусскую политику, попытается отметить за это Пруссии прямо или косвенно, то насколько последняя в таком случае может рассчитывать на помощь России и ее союзников? Я буду покоен насчет судеб Пруссии, если Россия соединит их с своими».

Александр отвечал (16 марта н. ст.), что «бывают случаи, когда вернейший друг не в состоянии подать совет, когда каждый должен принять сам свое решение». Император предлагал королю самый дружеский совет, но тот счел нужным последовать другим мнениям. Королю принадлежит выбор: на одной стороне – честь, слава, истинный интерес Прусской монархии; на другой – решительная и неизбежная гибель последней при вечном упреке в содействии ко всемирной монархии человека, столь мало ее достойного. Если король вооружится за независимость и благо целой Европы, то немедленно найдет императора подле себя; Пруссия не должна бояться, что Россия покинет ее одну в такой благородной борьбе. В России говорили о необходимости борьбы; в Пруссии отвечали, что борьбу начинать рано, надобно потихоньку приготовляться. А между тем Наполеон схватил на немецкой независимой почве одного из бурбонских принцев и убил его.

Наполеон готовился сделать последний шаг для утверждения своей власти во Франции; он уже был провозглашен пожизненным первым консулом; оставалось только велеть провозгласить себя наследственным императором, и в такое-то решительное время он был страшно раздражен заговорами приверженцев старой династии. В этом раздражении Наполеону по его природе мало было казнить, разослать верных слуг Бурбонской династии – орудие заговора, ему нужна была жертва более значительная, кто-нибудь из самих Бурбонов. Этой жертвой сделался молодой герцог Ангьенский, внук Конде, который жил в Эттенгейме, в баденских владениях. Неприкосновенность независимых владений должна была служить ему верным ручательством безопасности, но во времена Наполеона этого ручательства не было более. В марте 1804 года французские жандармы являются ночью в Эттенгейм, схватывают герцога и отвозят во Францию. Судьба его была решена: Наполеону нужно было показать свою силу, поразить врагов ужасом, наругаться над ними, унизить перед толпой древнюю династию казнью одного из видных ее членов, поразить толпу впечатлением, что для ее правителя казнить и принца ничего не значит. Герцог Ангьенский был расстрелян во рву Венсенского замка.

В тот день, как в Петербурге было получено известие о смерти герцога Ангьенского, жена французского посланника мадам Гедувиль с жившей у нее родственницей поехали вечером к князю Белосельскому, где собралось больше шестидесяти человек. После ледяного приема ее оставили на диване одну с кузиной; никто к ним не подошел; долго француженки беседовали друг с другом, наконец отправились домой за час до ужина. «Я вижу, что на нас смотрят здесь, как на зараженных», – сказала мадам Гедувиль, уезжая, 5-го апреля был назначен совет по поводу венсенского события. Большинство членов было за то, чтобы наложить траур

и отозвать поверенного в делах Убри, было вообще за энергические меры. Граф Завадовский объявил, что Россия по своим силам и по своему географическому положению безопасна, если бы даже французы перемутили все соседние государства. Граф Николай Румянцев объявил, что не надобно разрывать с Францией без важных причин и не надобно давать другим государствам увлекаться в войну. Только одни государственные причины могут повести к каким-нибудь решениям, а чувства должны оставаться в стороне, и потому надобно только надеть траур и замолчать. Князь Чарторыйский присоединился к Румянцеву.

Но император был не за молчание; он понимал, что дело идет не о чувствах только, когда правитель одного государства хватает вооруженной рукой в другом независимом государстве неприятного ему человека и расстреливает его. Алопеус давал знать Александру, что венсенское событие произвело сильное впечатление в Берлине; но какие же следствия? Александр написал Фридриху-Вильгельму: «Я уже знаю из письма Алопеуса, что в. в. были сильно оскорблены ужасным поступком, который позволил себе Бонапарт похищением герцога Ангьенского. Но, государь, на нашем месте часто бывает недостаточно только почувствовать справедливое негодование в глубине своего сердца – надобно его выразить. До сих пор Россия и Пруссия обходились с Францией очень кротко – и что выиграли? Надобно переменить обращение. Бонапарт нагнал на все правительства панический страх, который служит главным основанием его могущества. Встретит он твердое сопротивление – и пыл его утихнет».

Но правительства, находящиеся под влиянием панического страха, могут ли оказать твердое сопротивление, могут ли и принять совет о его необходимости? История герцога Ангьенского показала это всего лучше. Дело касалось прежде всего Германской империи: неприкосновенность ее границ была нарушена самым наглым образом; имперский сейм в Регенсбурге был в самом неприятном положении: и стыдно промолчать, и что и как сказать?

Наполеон! Лучше, безопаснее промолчать, не обратить никакого внимания, дело скоро забудется. Начали успокаиваться, как вдруг неожиданная, непрошеная приходит русская нота в сильных выражениях с требованием протеста, с указанием на опасность, какая произойдет для Европы, если такие насилия будут производиться беспрепятственно, пропускаться без внимания. К русскому протесту присоединился ганноверский посланник, представитель составного члена империи; шведский король Густав IV также прислал протест. У Германии был глава – император; он не мог молчать, когда заговорил император русский. В Вене нехотя промолвили, что можно попросить у французского правительства достаточного успокоительного уяснения дела. Промолвили – и испугались; велели в Париже извиниться: «желалось сохранить глубокое молчание, и до сих пор не произносили ни слова; но царь заставил говорить; французское правительство, которое и без того дало бы разъяснение, конечно, будет довольно, получивши об этом такое умеренное предложение от императора Франца». Хвалились, что вместо жестокого русского требования поставлено умеренное, приличное предложение.

Но в Париже не тронулись этими извинениями, потому что раздражались всяким требованием ответа, когда ответа давать не хотели; в Париже на учтивости австрийского посла отвечали упреками в соглашении Австрии с Россией, австрийскому послу приходилось при этом отрекаться более трех раз. Французский посланник в Вене Шампаньи требовал, чтобы венский двор склонил курфюрста Баденского сообщить в Регенсбург сейму, что он, курфюрст, получил от Франции самые удовлетворительные объяснения и что все произошло с его согласия. Это было уже слишком: требование отклонили. Тогда французское правительство обошлось и без помощи Австрии относительно курфюрста Баденского: он прислал в Регенсбург заявление; тут была и благодарность русскому императору за его чистое намерение и благожелательное участие, и уверенность в дружеских чувствах французского правительства и его высокого главы, и, наконец, настоятельная просьба не давать делу дальнейших последствий. У представителей германских государей на сейме отлегло от сердца. Пруссия прямо присоединилась к баденскому заявлению; Австрия не возражала; только русский посланник не хотел

понять, как таким образом могут быть обеспечены достоинство и самостоятельность Германской империи. Чтобы не иметь больше дела с такой странной непонятливостью, сейм придумал отличное средство: он разъехался до срока.

Но во Франции дело кончилось обратно: оттуда уехал русский поверенный в делах. Когда Убри передал Талейрану ноту с протестом против поступка главы французского правительства с герцогом Ангьенским и с изложением всех недружественных поступков французского правительства относительно русского, Талейран сказал тихонько, как будто про себя: «Мне кажется, что это дело сделано немного легкомысленно». Убри встал с рассерженным видом. Талейран при этом движении сказал с живостью: «Я нахожу везде дух и приемы г. Моркова». «Это мнение императора», – сказал Убри; но Талейран продолжал утверждать, что все это Морков. «Не Морков, – говорил Убри, – но уклонение от обязательств, постановленных в секретном договоре относительно Неаполя, сардинского короля и проч., заставило императора высказать все свое неудовольствие против Франции».

После доклада Бонапарту Талейран отвечал нотой, в которой русское правительство обвинялось в том, что держит в Дрездене и Риме заговорщиков против Франции и стремится нарушить безопасность и независимость наций. Относительно герцога Ангьенского говорилось, что германские государи не протестуют: из чего же Россия хлопочет? «Если, – говорилось в ноте, – настоящая цель его величества состоит в том, чтобы образовать в Европе новую коалицию и возобновить войну, то к чему служат пустые предлоги и почему не действовать открыто? Первый консул не знает на земле никого, кто бы мог испугать Францию, никого, кому бы он позволил вмешиваться во внутренние дела страны». Затем была пущена корсиканская стрела: на Англию взведено обвинение в замыслах против императора Павла с прибавкой, что если бы в России узнали, что злоумышленники находятся недалеко от границы, то, конечно, схватили бы их. Убри потребовал паспортов, Талейран уговаривал его остаться. Тогда Убри для продолжения дипломатических сношений между Россией и Францией потребовал немедленного удовлетворения по трем пунктам: очищения Неаполя, вознаграждения сардинского короля, очищения Северной Германии. Удовлетворения не было. В августе 1804 года Убри снова потребовал паспортов и на этот раз получил их.

III. Первая коалиция

У первобытных народов существовал обычай при закладке какого-нибудь здания для его прочности приносить человеческую жертву. В основу здания Французской империи положен был труп герцога Ангьенского. Едва покончилась венсенская трагедия, как сенат явился к первому консулу с предложением императорской короны. Но дело об империи еще не было кончено, когда последовал разрыв дипломатических сношений между Россией и Францией: императорский титул Наполеона не был признан Россией; Пруссия поспешила признать его; признал и германский император, выговорив себе признание наследственного императорского титула как государю австрийских земель. Превращению Французской республики в империю даже очень радовались в высших кругах Вены, ибо думали, что дело покончено с революцией; но радость была непродолжительна. То, чем мог довольствоваться первый консул, тем не мог довольствоваться император: новый титул требовал новой, блистательнейшей обстановки; и средства для этой обстановки должна была доставить Европа. Странно было думать, что Наполеон, ставши императором, сделается умереннее; как будто он не должен был заплатить за новую верховную честь новой славой для народа, новыми приобретениями для него; странно было думать, что Наполеон, который не хотел отказаться от Италии, когда был первым консулом, откажется от нее, ставши императором; а здесь-то, в Италии, – и место столкновения между Австрией и Францией. Столкновение было необходимо; к нему надобно было готовиться; в Вене не могли обманывать себя надеждой на нейтралитет, как обманывали себя в Берлине; но точно так же, как и в Берлине, в Вене дрожали при мысли начать борьбу с Наполеоном, а начать ее один на один считали невозможным.

Были союзники. Как только возобновилась война между Англией и Францией, британское правительство начало искать союзников на континенте, хлопотать о коалиции, причем не могло не обратиться к Австрии, старой союзнице своей в борьбе с Францией. Но старые времена прошли; Австрия не была более первенствующей державой Восточной Европы; в Германии ее постоянно давил кошмар Пруссии, а на востоке была Россия, которая одна могла стать в челе коалиции. И потому на английские предложения в Вене был один ответ: без России ничего сделать нельзя. Этого мнения крепко держался человек, управлявший тогда внешними сношениями Австрии, граф Людвиг Кобенцль, приобретший как дипломат громкую известность в XVIII веке, особенно как австрийский министр при русском дворе, при дворе Екатерины. Кобенцль, подобно Моркову, был полный представитель того доброго старого времени, когда шутя делали важные дела, когда в Эрмитаже за веселым разговором, втыкая иголку в канву, делили царства. Кобенцль славился своим волокитством; несмотря на тяжелую и крайне неприятную наружность, славился умением играть на театре; имея около 60 лет, не переставал брать уроки пения. Курьер прискачет из Вены с важными депешами, а посланник перед зеркалом разучивает роль. Дурные известия, которые получал Кобенцль из Вены во время неудачной борьбы Австрии с республиканской Францией, не мешали ему давать блестящие балы; когда узнавали о победах французов над австрийцами, то говорили: «Прекрасно! В субботу будет бал у Кобенцля». Екатерина говорила: «Вы увидите, что он бережет лучшую пьесу ко дню входа французов в Вену».

Кобенцль выехал из России с убеждением, что Австрия может быть безопасна только в союзе с этой державой; с этимубеждением он принял в свое заведование внешние дела. В Вене не могли не знать, по крайней мере не могли не подозревать, что в Петербурге не придают большого значения союзу с Австрией вследствие военной слабости, обнаруженной ею в последнее время. Такому взгляду в Вене приписывали и старания России привлечь на свою сторону Пруссию, и явную потачку видам последней, как казалось одолеваемой ревностью Австрии. С целью внушить русскому правительству большее уважение к военным силам Австрии летом

1803 года отправился в Петербург брат императора, венгерский палатин; но хотя он привез в Вену успокоительное известие, что и к Пруссии в Петербурге не питают особенного уважения, однако не заметил там и желания сблизиться с Австрией. В Петербурге хотели деятельного союза, а не бесполезного сближения; на первый же была плохая надежда, судя по известиям, приходившим из Вены. По этим известиям, Тугута уже с год ни о чем не спрашивали; влияние эрцгерцога Карла ограничивалось одними военными делами; императрица не имеет *важного* влияния – она хохочет с утра до вечера, устраивает фантастические деревенские праздники, строит странные замки. Администрация слабая, хочет делать сама, выводит темных людей и хочет этим показать, что ищет сил во всех классах общества. Французский посланник пользуется в Вене огромным значением; он знает все, потому что посланник испанский, министры итальянский, прусский сообщают ему о всех своих поступках, советуются с ним обо всем, передают ему все известия. Франции терпеть не могут, но страшно боятся. Армия в лучшем положении, чем можно было надеяться, но полководцев нет.

Представителем австрийского двора в Петербурге был граф Филипп Стадион, человек, пользовавшийся по своим личным качествам всеобщим уважением и давно приятный в России. Но Стадиону была задана трудная задача. «Старайтесь, – писал ему Кобенцль, – поставить нас в самые лучшие отношения к России, но чтобы при этом мы не обязаны были вести войны». Кобенцлю давали знать, что из сановников, заведовавших иностранными делами России, князь Чарторыйский разделял воинственный жар императора Александра, но граф Воронцов смотрел на дело спокойнее и систематичнее, и Кобенцль предписывал Стадиону извлечь пользу из миролюбивых наклонностей русского канцлера. Но Воронцов не был так миролюбив, как про него насказали Кобенцлю; Воронцов напоминал Стадиону то доброе старое время – время незабвенной Елисаветы, когда Россия и Австрия были в тесном союзе и следствия этого союза хорошо знал Фридрих II; теперь следствия такого союза должен узнать Наполеон – иначе зачем союз? Война есть бедствие, но избежать ее трудно. Россия может двинуть 90.000 войска, с таким же корпусом удерживать Пруссию; будет стараться в Баварии, Виртемберге и Бадене, чтобы эти владения не примкнули к Франции. «Русские войска, – говорил Воронцов, – могут выступить в поход в 8 дней».

Русские предложения произвели сильное смущение в Вене. Министерство было за условное принятие их; эрцгерцог Карл требовал безусловного отвержения; наконец, отправили (1 апреля 1804 г. н. ст.) в Петербург ответ с чистосердечным признанием жалкого финансового положения Австрии, которая едва могла бы вести войну и оборонительную и уж никак не может решиться на войну наступательную; при этом старались доказать, что тесная связь России с Австрией одна может удержать Наполеона от дальнейших захватов. Такая уклончивость и поведение венского двора в деле герцога Ангьенского не могли не произвести раздражения в Петербурге. Император Александр не скрывал этого чувства в разговорах с австрийским военным агентом Штуттергеймом. «Вы идете по дороге, которая приведет вас к погибели, – говорил государь. – Вы отдаетесь под покровительство Франции, которая с вами играет, и кто знает, куда вас заведет ваша робость». Раздражение усилилось, когда Австрия признала императорский титул Наполеона.

В Вене одинаково боялись раздражить и Россию, и Францию. Старались представить в Петербурге, что не должно вступать в борьбу ни слишком рано, ни слишком поздно: преждевременный разрыв, без приготовления по меньшей мере равных с неприятелем сил, только закрепит цепи, а не разобьет их. Бедственное существование сардинского короля, опасности, грозящие Неаполю, требуют, конечно, величайшего внимания; но что все это значит в сравнении с соединением Италии с Францией, с этим первым решительным шагом ко всемирной монархии? Для войны требовали от России 150.000 войска, от Англии – больших денежных субсидий. Странным должен был казаться в Петербурге страх перед соединением Италии с Францией на бумаге, когда уже все было к тому приготовлено на деле. В ответ на такую стран-

ность император Александр через Штуттергейма не переставал увещевать Австрию, чтобы она вооружалась, иначе погибнет, и ее падение повлечет за собой падение целой Европы: «Нет другого средства сдержать Наполеона, как усилить свое войско; разве австрийский кабинет не видит, что право сильного составляет всю настоящую политику?» Когда в Петербурге узнали, что папа едет в Париж короновать Наполеона, то Александр говорил Штуттергейму: «Вы потеряли дорогое время; папа возложит корону на этого человека, который над вами смеется, закрепляя свое положение. Чтоб привязать к себе французов, надобно их ослепить. Партии против Наполеона, о которых вы говорите, не образуются. Вы дали ему время утвердиться, вы даете ему еще Досуг, и он кончит тем, что сделается королем итальянским». В последнем трудно было сомневаться; очень вероятно было и то, что Австрия выйдет из своей неподвижности при этом решительном шаге Наполеона ко всемирному владычеству. В Петербурге не хотели терять дорогого времени, хотели закрепить дело по крайней мере там, где можно было бросить якорь, – в Англии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.